

Р. Е. ТАРД

ЦАРЬ
ПРОТИВ
ГРОЗНОГО

ПРИСЯГА

Роман Тард

Царь против Грозного. Присяга

«Автор»

2026

Тард Р. Е.

Царь против Грозного. Присяга / Р. Е. Тард — «Автор», 2026

Март 1553 года. Иван IV лежит при смерти, а у дверей его спальни бояре уже решают, кому достанется власть над младенцем-наследником. Максим Лебедев, современный руководитель кризисного штаба, приходит в себя в теле молодого царя. Ему известно, кем Ивану суждено стать, но знание будущего быстро теряет цену: он не помнит лиц, не знает тайных договорённостей и не может отличить верность от хорошо разыгранного повиновения. Чтобы защитить сына и не начать собственное правление с расправы, Максим пытается сделать царскую власть проверяемой: каждый приказ должен оставить след — писца, свидетеля, исполнителя и обратную весть. Но государева печать уже может лгать, Старицкие не забудут унижения, а спасённая жизнь превращает знакомую историю в незнакомую землю. Чтобы победить Грозного, царю придётся прежде всего победить его в себе.

© Тард Р. Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Жар	5
Глава 2. Чужая рука	12
Глава 3. Крест	19
Глава 4. Два списка	26
Глава 5. Пять звеньев	33
Глава 6. Дыхание	40
Глава 7. Мирить живых	46
Глава 8. Книга выдачи	53
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Роман Тард

Царь против Грозного. Присяга

Глава 1. Жар

Первым вернулся слух.

За стеной, совсем близко, кто-то выговорил слово, какого не говорят при живом. Выговорил негромко, по-деловому — так распоряжаются вещью, у которой уже переменился хозяин.

Потом пришёл жар. Он был не снаружи. Он был вместо тела: руки лежали где-то далеко и слушались с опозданием, грудь поднималась сама, без спроса, и каждый вдох приходилось догонять, как догоняют отходящую лодку.

Он открыл глаза и не узнал потолка.

Тёмное дерево, низкий свод, две свечи гоняют свет по балкам. Пахло воском, тёплой шерстью и чем-то церковным — сухим, сладковатым, с горчинкой в самом конце. Больница. Мысль не удержалась и осыпалась.

Последнее, что он помнил, было не про потолок. Вода. Берег, который стоял сто лет и не устоял в ту минуту. Земля пошла не сразу и не резко — сперва мягко, будто просела под весом. Этой мягкости он себе и не простил: заметить успел, отойти нет.

Максим Лебедев. Так его звали. Он первым проверил имя. Имя было на месте.

Тело было чужое.

Он понял это не рассудком. Правая рука оказалась легче, чем полагалось, и в плече не отозвалось. Годами там жила ноющая тяжесть, к которой он притерпелся, как притерпливаются к соседу за стеной. Он повёл плечом. Тяжести не было. Повёл ещё раз, сильнее, — не было опять.

Стало страшно раньше, чем стало понятно.

Женщина сидела так близко, что сперва он увидел только руки. Молодые, с покрасневшими от воды пальцами. Она отжала тряпицу над лоханью, и звук капель дошёл до него отчётливее, чем её лицо.

Тело потянулось к ней прежде него. Голова сама пошла в её сторону — так поворачиваются к своей, а не к сиделке.

— Настя, — сказал он.

Слово вышло само. Горло было чужое, и голос чужой, и слово чужое. Правильное.

Она не улыбнулась. Она замерла — так замирают, услышав знакомый голос из соседней комнаты и не решив ещё, кто там.

— Пить, — сказал он.

Второе слово далось хуже первого.

Она поднесла ковш и придержала ему затылок. Ладонь была холодная от воды, а под ладонью — его собственные волосы, мокрые, и их было слишком много. Он пил и считал: три глотка, четвёртый мимо. Вода пошла по подбородку за ворот.

— Будет, — сказала она и отняла ковш. — Тебе помногу нельзя.

Голос у неё был ровный. Руки — нет.

Он лежал и собирал себя по частям, как собирают после долгой дороги: где ноги, где спина, где пальцы. Пальцы нашлись. Их было десять, и они были не его: длиннее, суше, с коротко срезанными ногтями.

Он приподнял руку к лицу. Рука дошла до подбородка и упала. Но он успел: борода. Не щетина — борода, лёгкая, редкая, молодая.

Значит, тело было ещё и молодое.

От двери подошёл старик. Тёмное на нём было тяжёлое, до полу; борода седая, широко лежала на груди. Старик наклонился, и в наклоне не было угодливости — только вес прожитого и привычка смотреть на лежащих сверху, не отводя глаз.

И опять тело сработало раньше. Рука дёрнулась ладонью вверх. Под благословение. Макарий.

Имя поднялось вместе с готовым движением руки — из тела. И только следом Максим подцепил собственную давнюю книжную строку: митрополит Макарий.

Старик не благословил сразу. Он сперва посмотрел — долго, снизу вверх по лицу, от подбородка к глазам, будто сверял.

— Государь, — сказал он. — Слышишь ли меня?

— Слышу.

— Громче скажи. Не мне.

Максим не понял. Потом понял и похолодел. Старику не нужно было, чтобы услышал он, старик и так стоял рядом. Старику нужно было, чтобы услышал кто-то ещё.

— Слышу, — сказал он громче. Горло рвануло, и он закашлялся, и кашель был сухой, злой, изнутри головы.

— Хорошо, — сказал Макарий, и это «хорошо» относилось не к его здоровью. — Назови себя, государь.

Вот теперь стало ясно всё.

Не «как ты себя чувствуешь». Не «выпей». Назови себя — при свидетелях, вслух, чтобы после можно было сказать: он был в разуме, он говорил, я слышал. Старик не утешал. Старик составлял свидетельство.

— Иван, — сказал он.

Ложь легла ровно, потому что не была ложью. Это было имя того тела, в котором он лежал.

Макарий выпрямился и перекрестил его — коротко, привычно, без торжества.

— Слышала? — спросил он женщину.

— Слышала, — сказала она.

— И я слышал.

Старик отошёл к двери, и в его спине была работа: он не молился, он относил куда-то только что полученное. Максим следил за ним, пока хватало глаз.

Женщина села ближе и положила ладонь ему на лоб. Ладонь сразу стала тёплой.

— Жар не сходит, — сказала она.

— Долго я так?

Он спросил и тут же понял, что спросил не то. Вопрос был правильный для больного и неправильный для того, кем его считали. Она задержала руку на лбу дольше, чем нужно.

— Не первый день, — сказала она. — Нынче ты впервые глядишь на меня, а не сквозь.

— А прежде?

— Прежде глядел мимо. И говорил мимо.

Он попробовал сообразить, что можно было наговорить мимо за это время, и не сообразил. Голова работала толчками, между толчками была вата.

— Что я говорил?

— Ты меня по имени звал, — сказала она. — А после говорил ещё, и разобрать я не могла.

Он замолчал. В вате шевельнулось что-то опасное, и он не стал за этим тянуться.

— Ты на меня глядишь, как на чужую, — сказала она.

Не с обидой. Ровно. Так проверяют шов на свет.

— Я на всё гляжу, как на чужое, — сказал он. — Худо вижу.

— Ты и говоришь иначе.

— Горло.

— Горло, — согласилась она и убрала руку.

Она не сказала, что поверила, но осталась. По её молчанию Максим понял лишь одно: недоверие ещё не стало уходом.

За дверью снова заговорили. Слов было не разобрать, но был слышен ритм: один говорил длинно, второй перебивал коротко, третий вступал и гасил обоих. Так спорят не о больном. О больном говорят по-другому: тише и короче.

Он попробовал сесть.

Комната пошла вбок. Он переждал, упёршись ладонью в постель, и удивился тому, какая широкая у ладони кость. Сел.

— Лежи, — сказала она и взяла его за плечо. Не удержала — попросила рукой.

— Кто там?

— Люди.

— Сколько?

Она посмотрела на него внимательно. Вопрос был не тот, какого она ждала.

— Много, — сказала она. — Со вчерашнего прибывают и назад не едут.

Он спустил ноги на пол. Пол был холодный, доски широкие, между ними тянуло снизу. Первый шаг он сделал, держась за столбик, второй — уже нет, и на третьем его повело. Он достал до сундука, переждал, дошёл до стены.

От стены до двери он дошёл сам.

Дверь была узко приотворена.

Он её не отворял. И она — он оглянулся — сидела на месте и не отворяла тоже. Кто-то приоткрыл её снаружи и оставил так. Не настужь. Из щели можно было слышать дыхание.

В щель шла полоса света, и в этой полосе стоял холодный воздух сеней.

— ...покамест дышит, дотоле и слово его, — говорил кто-то. — Против того я не спорю и спорить не стану.

— А как перестанет?

— А как перестанет, тогда и разберём, чьё слово.

— Поздно будет разбирать. Крест целовать надобно ныне, покуда все при одном месте и никто не разъехался.

— Кому целовать? Пеленам?

— Царевичу Димитрию.

Максим прислонился лбом к косяку. Косяк был тёплый от свечей с этой стороны и холодный в глубине дерева.

Димитрий.

— Младенец креста не удержит, — сказал первый голос, и в нём не было злобы, была усталая правота. — Его удержат те, кто при нём станет. Вот им и целовать выходит, а не ему.

— Так о том и речь.

— О том и речь, — повторил кто-то третий, и тут вступил четвёртый.

Четвёртый говорил длинно.

— По прежнему обычаю в такие часы слово государево не молчит, а идёт заведённым порядком, как заведено исстари и как шло при отце его и при деде: кому надлежит ждать — ждёт, кому надлежит нести — несёт, и новизны в том никакой нет, и смущаться тут нечем, и никто не может сказать, будто чинится что не по обычаю, и укорить тут некого и не в чем.

Никто не ответил. Голос был такой, что после него отвечать не хотелось.

Максим стоял у щели и держался за косяк обеими руками.

Он не думал о том, что с ним случилось. На это он себе времени не давал — потому что знал по прежней своей работе простую вещь: когда всё рушится, первым делом теряют не тех, кто испугался, а тех, кто сел разбираться, отчего именно рушится.

Он думал о другом.

Спор за дверью был не о присяге. Присяга — это то, что видно и о чём можно спорить громко. Опасно было не это. Опасно было то, что сегодня ночью отсюда, из-за этой двери, может выйти бумага. С печатью. И утром никто не сумеет сказать, говорил её человек, лежавший в жару, или не говорил.

Слово государево не молчит, сказал длинный голос. И идёт заведённым порядком.

Заведённый порядок. Максим знал цену этим двум словам. Заведённый порядок — это когда никто в отдельности не виноват, потому что каждый делал как всегда.

Он стал складывать.

Иван. Анастасия. Макарий. Младенец Димитрий, которому хотят и не хотят целовать крест. Царь в тяжкой болезни, и вокруг него уже считают.

Он читал об этом. Давно, вскользь, не для дела — так читают в дороге. Царь тяжело занемог, у постели заспорили о присяге сыну, и от того спора потом было много всего. Память говорила: март. Пятьдесят третий.

Память говорила и всё. Числа она не называла, и он не поставил бы на число ничего. Он вообще не собирался ставить на память — память была не свидетель, память была только догадка, и её ещё предстояло чем-то подпереть.

За окном капало. Не дождь — капель, редкая, ночная, с той стороны, где днём достаёт солнце.

Весна. Ну хоть в этом память не соврала.

Он выпрямился. Держаться дальше за косяк было нельзя: в щель было видно его руку.

Пол под ним скрипнул.

За дверью замолчали разом — так молчат не от испуга, а от выучки. Потом кто-то пошёл к двери.

Дверь качнулась внутрь.

— Стой, — сказал Максим.

Он сказал негромко, потому что громче не мог. Но чужое горло вынесло слово тяжелее, чем он рассчитывал, и оно легло в переднюю палату, как кладут ладонь на стол.

Дверь остановилась. В щели стоял человек со свечой, и свеча у него была поднята высоко, к своему лицу, а не к чужому, — так держат свечу те, кто хочет быть узанным, и не держат те, кто хочет разглядеть.

Максим увидел за ним головы. Их было много больше, чем он думал по голосам. Палата была полна людьми, стоявшими молча, и все они смотрели на щель.

— Старшего караула ко мне. Одного.

Он повернулся и пошёл обратно.

До стены он дошёл сам. Дальше его взяли под руку, и это была она — подошла беззвучно и оказалась ровно там, где нужно, ни раньше, ни позже.

— Ты упадёшь, — сказала она ему в плечо.

— Не при них.

Она довела его до постели и посадила. Не уложила — посадила, и он был ей за это благодарен так, как давно ни за что не был благодарен.

Старший караула вошёл и стал у порога.

Он был не молод и не стар, с красной от сеней шеей, и стоял он ровно, а руки опустил вдоль тела, и правая была чуть отставлена — там, где висело.

За его спиной, в дверном проёме, остановился Макарий. Не вошёл. Встал так, чтобы видеть обоих.

Хорошо, подумал Максим. Стой там. Ты мне и нужен там.

— Имя своё скажи, — велел он. — Не мне. Владыке.

Старший караула не понял. Он посмотрел на Макария, потом опять на постель.

— Скажи, — повторил Максим.

Тот назвал.

Максим не стал запоминать. Ему не нужно было помнить имя — ему нужно было, чтобы имя было сказано вслух, при третьем, и чтобы этот человек знал, что оно сказано.

— Слышал, владыко?

— Слышал, — сказал Макарий от двери.

— Теперь слушай ты, — сказал Максим старшему караула. — Караул до нового моего слова не сменяется. Кто стоял, тот и стоит.

— Государь, смена по череду положена...

— Череды не будет. Дальше.

Он перевёл дыхание. Дышать и говорить одновременно не выходило, приходилось по очереди.

— Отсюда нынче ночью ничего не выйдет как моё слово. Ни на словах, ни на письме. Ни с печатью.

В передней палате кто-то тронулся с места. Слышно было по половице.

— А коли выйдет? — спросил старший караула. Спросил не дерзко. Спросил как человек, которому завтра отвечать.

— А коли выйдет, ты спросишь: кто слышал, как государь то сказал. Не печать спросишь. Человека. Имя. И пока имени нет, ты того гонца не пускаешь.

— А коли назовут ложно?

Максим всмотрелся в его лицо. Вопрос оказался лучше, чем он ожидал в эту ночь от кого бы то ни было.

— Тогда назвавший будет назван, — сказал он. — И спросят с него, а не с тебя. Ты своё дело сделал, когда спросил имя.

Старший караула помолчал.

— Понял, государь.

— Повтори.

— Караул до нового слова не сменять. Кто стоял, тот и стоит. Отсюда ничего не выпускать как государево слово: ни на словах, ни на письме, ни с печатью. Спрашивать, кто слышал. Пока имени нет — гонца не пускать.

— А коли имя ложно?

— Спрос с назвавшего. Не с меня.

Он выговорил это без запинки и почти теми же словами, и Максим отметил про себя, что это редкость и что этого человека надо будет запомнить — не по имени, так по красной шее.

Макарий шагнул наконец через порог.

— Государь, — сказал он. — Дозволь и мне спросить.

— Спрашивай.

— А коли ты к утру говорить не сможешь?

Он спросил это спокойно, без всякого нажима, и в комнате стало очень тихо. Женщина за спиной Максима не шевельнулась и, кажется, перестала дышать.

Он посчитал.

Если он к утру не сможет говорить, то не будет ни его слова, ни свидетеля, ни имени — и всё встанет. Встанет так, что можно будет упрекнуть его перед всеми: связал руки, и от того сделалась беда.

Но если он этого не сделает, то этой ночью его именем скажут то, чего он не говорил, и утром это уже будет не поправить ничем.

— Тогда моего слова не будет вовсе, — сказал он. — И пусть лучше не будет ничьего.

Макарий смотрел на него долго. Долше, чем в первый раз, когда сверял лицо.

— Это законно, — сказал он наконец. И повернулся к старшему караула: — Ты слышал государя. Я слышал тоже. Ступай и стой.

Старший караула поклонился и вышел — спиной вперёд, но не пятясь, а разворачиваясь у самой двери, — и плечи у него опустились. Ему дали правило. С правилом стоять легче, чем с милостью.

— Теперь того, кто говорил длинно, — сказал Максим.

Макарий не переспросил, кого именно. Он вышел и вернулся, и с ним вошёл человек с бумагами.

Человек был опрятный, в летах, с широким шрамом у мочки уха и с той особенной ровностью в плечах, какая бывает у людей, привыкших стоять при других долго и без движения. Бумаги он держал у груди, ребром наружу.

— Савва, — сказал Макарий.

— Государь, — сказал Савва и поклонился в самую меру: не мало, чтобы не заметили, не много, чтобы не подумали, будто у него есть причина.

— Что у тебя в руках?

— Списки, государь.

— Какие?

— Те, что нынче надобны, — сказал Савва. — По прежнему обычаю в такие дни составляются росписи, кого известить и кому быть, и то дело самое обыкновенное, и не мною заведено, а ведётся исстари, и при отце твоём так же велось, и я в нём хожу не первый год, и всякий раз оно шло тем же ладом, и никакой в том нови...

— Сколько списков?

Савва остановился на полуслове. У него это вышло почти незаметно — он не запнулся, он просто закрыл рот и открыл снова.

— Четыре, государь.

— Сколько ушло?

— Три.

— Назови первый. Кто понёс.

Савва назвал.

— Кому отдал?

Савва назвал и это, и назвал быстро, и Максим отметил быстроту.

— Второй.

Савва назвал второй список, и того, кто понёс, и того, кому отдал, и добавил, куда пошёл дальше, — добавил сам, без вопроса, и это было хуже, чем если бы он молчал. Но проверить это было пока нечем, и Максим не стал.

— Третий.

И вот на третьем Савва начал издали.

Он начал с того, что список этот, собственно, и списком-то называть не совсем правильно, потому что был он не роспись, а выписка, и составлялась она не нынче, а ещё прежде, и лежала, и никто её не тревожил, и понесли её не потому, что кто-то велел, а потому, что так всегда носят, когда собираются люди, и в такие часы всегда бывает, что несут, не спросясь особо, и никакого в том умысла...

— Имя, — сказал Максим.

Савва назвал.

Имён Максим не удерживал. Он и не пытался: удерживать в жару все названные имена было ему сейчас не по силам, а слышал их Макарий, и в этом была вся суть. Максим смотрел не на имена. Он смотрел на промежуток между вопросом и ответом.

Первый промежуток был короткий. Второй короче первого. Третий растянулся на целую речь из правильных слов.

— Четвёртый где?

— При мне, государь.

— Дай.

Савва отделил один лист и подал. Максим взял и не стал читать — читать он сейчас не мог, буквы плыли, да и не в буквах было дело. Он подержал лист на весу и положил рядом с собой на постель, лицом вниз.

— Владыко, — сказал он. — Ты слышал названные имена?

— Слышал, — сказал Макарий. — Все.

— Запомнишь?

— Запомню.

— Тогда так, — сказал Максим Савве. — Впредь ни одного списка отсюда без имени. Кто понёс — сказать вслух, при владыке или при том, кого владыка укажет. Кому отдал — сказать. Вернулся или нет — сказать. Не назвал — списка нет.

Савва наклонил голову.

— Как повелишь, государь. Воля твоя, и я противу неё ни слова. Только по прежнему обычаю носили и без того, и никто того не спрашивал, и в том никогда не...

— Прежний обычай нынче ночью отдыхает, — сказал Максим.

Он сказал это тише, чем всё прежнее, и оттого оно вышло тяжелее.

Савва замолчал.

Анастасия всё это время сидела у изголовья и не сказала ни слова. Теперь она подала ему ковш, и он выпил, и на этот раз ничего не пролил.

— Ты прежде не спрашивал, кто понёс, — сказала она.

Сказала совсем тихо, только ему.

Он посмотрел на неё. Лицо у неё было усталое до серости, и в этом лице ничего не менялось — менялись только глаза, и они его сейчас разбирали.

— А что я спрашивал?

— Отчего не сделано, — сказала она. — Ты всегда спрашивал, отчего не сделано.

Он не ответил. Отвечать было нечем, а врать ей было ещё рано: он не знал, сколько у неё в запасе таких проверок и когда он на них посыплется.

— Ложись, — сказала она.

— Погоди.

Он повернулся к Савве, который так и стоял посреди комнаты, прижав к груди бумаги.

— До света останешься здесь.

Тут Савва впервые поднял глаза.

— Государь, дело моё такое, что при мне и справляются, и всякий час кто-нибудь да спросит, и коли меня на месте не случится, то может выйти замешательство, и люди станут ждать понапрасну, и после скажут, что стало не по обычаю, и...

— Пусть ждут, — сказал Максим. — Сядь.

И показал глазами куда: на низкую лавку у стены, туда, где стояли свечи и где свет доставал до рук.

Савва прошёл и сел, куда указали. Оправил одежду. Положил бумаги на колени — испанной стороной вниз.

Глава 2. Чужая рука

Свеча стояла не там.

Он велел поставить её так, чтобы свет доставал до рук. Теперь она стояла выше прежнего, на приступке у стены, и свет от неё ложился Савве на плечо и на висок, а руки его лежали в тени, и бумаги на коленях были тенью тоже.

Никто не входил. Значит, он всё-таки на сколько-то выпал.

— Свечу переставь, — сказал Максим.

Савва поднялся, не торопясь и не медля.

— Оплывала, государь. Капало на лист, и я подумал: испортит.

Он взял свечу и вернул её на прежнее место, и, ставя, подвинул под неё щепку, чтобы стояла ровно. Всё было сделано хорошо. И объяснение было хорошее, и щепка была хорошая, и не к чему было придаться, и в этом-то и состояла вся трудность: у каждого движения тут находилась своя добрая причина, а причин было уже три, и все врозь.

Максим не сказал ничего. Он лежал и слушал себя.

Жар не ушёл, но переменил поведку: перестал давить сверху и разошёлся по телу ровно, как разливается тепло от печи по остывшей комнате. Голова прояснилась настолько, что стало страшнее. Ночью его держал жар — теперь его не держало ничто.

Он попробовал языком нёбо. Сухо. Он сказал про себя два слова — свои, обыкновенные, из прежней жизни, — и они дошли до зубов и там встали. Не то чтобы он не мог их выговорить. Он не мог их выговорить так, чтобы они здесь что-нибудь значили.

Зато всё остальное шло само.

Ночью, при разговоре со старшим караула, он впервые услышал это в собственных словах. Они выходили готовые, с правильными окончаниями, с той тяжестью на конце, какая бывает у людей, привыкших, что им отвечают. Горло знало больше, чем он.

Значит, тело помнило.

Он лежал и осторожно, как трогают больной зуб, проверял: что ещё оно помнит.

Анастасия дремала в кресле у изголовья, не откидываясь на спинку, а держа спину прямо, — так спят те, кто собирается вот-вот встать. Волосы у неё были убраны под убрус, и выбившаяся прядь щекотала щёку. Она несколько раз повела головой и проснулась.

Проснулась сразу, целиком, без промежутка.

— Что? — сказала она.

— Ничего. Спи.

— Ты глядишь.

— Гляжу.

Она поправила прядь и посмотрела на свечу, потом на Савву, потом опять на него. Её взгляд прошёл тем же путём, что и его собственный. Следить за её проверкой было полезно. Попадать под неё — нет.

От двери подошёл Макарий, и сразу стало теснее.

— Государь, — сказал Макарий.

Он начал молитву.

Максим не знал, какую. Он не знал ни одного слова наперёд и держался за спинку кровати, чтобы не выдать себя хотя бы плечами. И тут его правая рука пошла сама.

Ко лбу. Вниз. К правому плечу, к левому.

Рука сделала это ровно там, где надо, раньше, чем он успел бы решить, что надо. Потом он поклонился — тоже сам, тоже правильно, ровно настолько, насколько кланяется лежащий. Он не участвовал ни в чём. Он просто был внутри, а тело служило службу, которую знало наизусть.

Это было хуже жара.

Он мог бы обрадоваться: тело выручит, тело не даст оступиться, тело знает поклоны, обращения, то, как берут ковш и как отпускают человека. Но выручка оборачивалась новой опасностью. Если тело делает половину за него, то он не всегда будет знать, где кончается он и начинается оно. А в комнате, полной людей, которые ищут перемену, вторая половина не менее опасна, чем первая.

Молитва кончилась. Все выпрямились.

— Тебе лучше, — сказал Макарий. Не спросил.

— Лучше.

— Слава Богу. — Старик медленно сел на подставленную скамью. Под глазами у него легли серые тени. — Ночь прошла тихо.

— Караул?

— Стоит тот же. Не сменяли.

— Кто просил сменить?

Макарий помолчал. Пауза затянулась.

— Просили, — сказал он. — По череду. Им отказали, как ты велел, и отказали при мне, и они ушли без спора. Государь, я скажу тебе прямо: ты вчера сделал дело законное. Но люди в передней всю ночь толковали не о том, законно оно или нет. Они толковали, отчего ты вдруг стал так спрашивать.

Вот оно.

— И что натолковали?

— Что человек в болезни бывает подозрителен, — сказал Макарий. — Это самое доброе, что говорили.

— А худшее?

— Худшее тебе слушать рано. Окрепни сперва.

Максим приподнялся на локте. Локоть держал.

— Владыко. Я не первый день лежал мимо. Я не помню, что говорил и кому. Мне теперь всякое слово надо ставить наново, и я ставлю, как умею. — Он подождал. — Если это на людях выглядит подозрительностью, пусть выглядит. Мне сейчас важнее не выглядеть, а знать.

Это была правда — вся, кроме одного слова. Он сказал «не помню» вместо «не был». Ложь встала на своё место тихо и удобно, будто её тут и ждали.

Макарий смотрел на него.

— Знать что, государь?

— Что отсюда выходило, пока я лежал.

Он потянулся к постели рядом с собой. Лист был там, где он его оставил, лицом вниз. Он перевернул его.

И ничего не прочёл.

Бумага была серовато-жёлтая, шершавая на просвет, чернила бурые, буквы мелкие и ставленные тесно, без промежутков, сплошной изгородью, и над изгородью то тут, то там висели чёрточки, а над некоторыми буквами были другие, поднятые наверх и приткнутые между строк. Он повёл глазами по первой строке и не разобрал даже, где кончается одно слово.

Спокойно, сказал он себе. Не дёргайся. Ты уже видел сегодня, как это делается.

Он перестал стараться.

Он опустил глаза не на буквы, а как бы сквозь них, — так смотрят на воду, когда ищут дно, а не рябь. Через несколько вдохов изгородь разошлась. Не вся. Кусками. Он поймал одно слово, потом ещё одно через строку, потом взял всю строку целиком, и она оказалась короткой и простой.

Дальше пошло легче. Он читал, как читают вслух дети: не думая, что читают.

Список был именно списком: столбец имён, выстроенных одно за другим. Он дочитал до конца, вернулся к началу, прочёл ещё раз. Главное осталось закрыто.

Он не знал, кто эти люди.

Ни один из них ничего ему не говорил. Тело не помогло: в имени нет поклона, в имени нечего сделать руками. Он держал в руках бумагу, в которой было всё, и не мог достать оттуда ничего.

Ладно. Значит, не имена.

Он положил лист на колени и посмотрел на Савву.

— Ты говорил, обычай заведённый.

— Заведённый, государь.

— Кто ещё этот обычай знает? Кроме тебя.

Савва помедлил. Ответ начался не с имени, а с общего правила.

— Всякий приказный человек по-своему знает, — сказал он. — У одного одна часть перед глазами, у другого другая, и всякий отвечает за свою, и так оно исстари заведено, а чтобы вот от начала и до конца...

— Кто здесь пишет, кроме тебя?

— Пишут многие.

— Кто пишет вот это? — Максим приподнял лист.

— Такие росписи ведутся не одним, государь, — сказал Савва. — Оттого и...

— Владыко, — сказал Максим, не поворачивая головы. — Кто здесь пишет?

— Микула, — сказал Макарий.

— Позвать.

Савва не переменялся в лице. Он только поправил на коленях оставшиеся бумаги, выровняв их край о край, и это было единственное, что он сделал.

Микула вошёл боком, потому что нёс перед собой доску с бумагами и берёг её от косяка. Был он худ, ещё не стар; у правого ногтя темнело чернильное пятно. От него пахло чернилами и холодом.

Он поклонился, не отпуская доски.

— Читать умеешь? — спросил Максим.

Вопрос вышел глупый. Поздно: он уже договорил.

— Умею, государь, — сказал Микула чуть тише Максима.

— А писал ты нынешние росписи?

— Одну писал.

— Которую?

— Ту, что о съезде.

— Она при тебе?

Микула не полез искать. Он снял с доски третий сверху лист, не глядя, как берут вещь с полки в своей избе.

— При мне.

— Клади сюда. Рядом.

На постели было мало места. Максим сдвинул одеяло, и Микула положил свой лист справа, а Саввин остался слева, оставив между ними просвет.

— Гляди, — сказал Максим. — И скажи мне, чем они разнятся.

Микула наклонился.

Он не хватал бумагу и не тыкал пальцем. Он подвёл к первой строке ноготь, не касаясь листа, и повёл вниз, и глаза его шли за ногтем ровно и медленно, будто он мерил, а не читал. Потом он перешёл на второй лист и повёл там. Потом вернулся.

За окном мерно капало.

— Люди те же, — сказал Микула. — И числом равно. Ни одного лишнего, ни одного не достало.

— А что не то?

— Порядок иной.

Максим ждал. Микула молчал.

— Дальше.

— Дальше нечего, государь. Порядок иной, и всё.

— Покажи.

Микула снова подвёл ноготь — теперь к своему листу, к самой первой строке.

— У меня вот кто первым. — Он назвал.

— А там он где?

Микула перешёл на левый лист и повёл ноготь вниз, считая. Ноготь остановился.

— Четвёртым.

— А кто там первым?

Микула назвал.

— А у тебя он какой?

— Седьмой.

— А несут по порядку?

— По порядку, государь.

Максим лежал и смотрел на два разнесённых листа.

Он не знал ни одного из этих людей. Он не знал, кто из них силен, кто беден, кто кому шурин и кто с кем в тяжбе. Он вообще ничего тут не знал.

Но одну вещь он знал так хорошо, что она не требовала имён.

Значит, порядок на бумаге давал первому время, которого не было у седьмого. Но кто и зачем переставил имена, Максим не знал. Пока у него было расхождение, не доказательство подлога.

— Микула.

— Государь.

— Чья это рука? — Он показал на левый лист.

Микула посмотрел на лист долго. Дольше, чем смотрел, когда считал.

— Не моя, — сказал он.

— Это я вижу. Чья?

— Не скажу, государь.

Савва на своей лавке шевельнулся. Он не встал, но глубоко набрал воздуха и только потом заговорил.

— Государь, тут надобно понимать, что росписи такого дела пишутся не в один присест, и бывает, что зачинает один, а дописывает другой, и по нужде спешной берут кого случится, и никто того за неисправность не считает, и оттого рука на одном листе...

— Не тебя спрашиваю, — сказал Максим.

Стало тихо.

Он не смотрел на Савву. У Микулы по шее вверх пошло красное.

— Ты не скажешь, потому что не знаешь? — спросил Максим. — Или потому, что знаешь?

— Оттого, что не поручусь, — сказал Микула.

И вот тут он поднял глаза. Взгляд дрогнул, но не ушёл в сторону.

— Государь, руку узнать — дело нехитрое, покуда речь идёт о своих. Свою знаю. Соседа знаю. Ещё двоих знаю. А эта — не из тех, что у меня перед глазами каждый день. Похожа на одну. Похожа и на другую. Я скажу — ты спросишь того человека. А он скажет — не я. И станет моё слово против его слова, и выйдет, что я его перед тобой поставил, а сам не поручусь.

Максим слушал и думал, что зря боялся за этого человека.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда так. За чужую руку ты не отвечаешь. Ты отвечаешь за то, что видно.

— Это я могу.

— Возьмёшь оба листа. Спишешь оба своей рукой, одно под другим, чтобы всякому было видно, где какой порядок. Ничего не поправляй. Что криво — так криво и пиши.

— Списать могу.

— И всякую роспись, какая нынче ещё придёт, будешь сверять с этими двумя. Придёт третья — сверишь. Разнится — придёшь и скажешь мне.

Микула повёл плечом.

— Государь, кому мне сказывать, коли тебя не допустят?

Хороший вопрос. Второй хороший вопрос за эту ночь, и опять не от того, от кого ждал.

— Владыке, — сказал Максим. — Владыка нынче слышит за меня.

Макарий на скамье не пошевелился. Только выдохнул через нос.

— Возьму, — сказал Макарий.

— И вот ещё что, Микула. Отвечаешь ты мне. Не Савве, не мне через Савву. Мне.

Микула поклонился. Оба листа легли на доску не один на другой, а рядом, боком, хотя доска была для этого узка.

В сенях стукнуло.

Не громко — доской о доску, как стучит поставленное на пол. Потом пошли шаги, и шаги были быстрые, и не одни.

— Кто там ходит? — сказал Максим.

Анастасия уже стояла у двери. Она отворила её сама, и в проёме оказалась спина стоящего человека, а за спиной, в глубине палаты, кто-то шёл к сеням.

— Держи! — сказал Максим.

Спина в проёме не обернулась. Она сдвинулась вбок, и в сенях звякнуло, и голос сказал коротко и спокойно:

— Стой, где стоишь.

Потом ещё раз, тише:

— Обе руки покажи.

Через несколько ударов сердца в дверь вошёл тот самый старший караула и стал у порога. Голос был тот же.

Он был плотный, с обветренным лицом. Левая рука лежала поверх пояса; на кисти белела старая ожоговая метка. Красная от сеней шея выдавала его Максиму раньше имени.

— Нежданов, — сказал Макарий.

— Кого взял? — спросил Максим.

— Никого не взял, государь. Стоит у стены.

— Кто он?

— Не знаю.

— Как не знаешь?

— Мне его назвали, — сказал Нежданов. — Сам я его прежде не видал. Кто назвал — тот и назвал, а за названное я не ручаюсь. Видел одно: стоит человек, идёт вон. Больше сказать нечего.

Максим задержал взгляд на его лице.

— Что при нём?

— Бумага.

— Он её показал?

— Показал.

— И что там?

Нежданов помолчал.

— Государь, я грамоте не силен, — сказал он ровно, без стыда. — Я вижу, что бумага, вижу, что печать, а что писано — не вижу.

Вот ещё одна слепая точка: караул видел бумагу и печать, но не мог проверить слова.

— Микула, — сказал он. — Ступай с ним. Прочтёшь.

Микула пошёл, придерживая доску. Его не было недолго. Он вернулся и сказал:

— Роспись, государь. Та же, что на левом листе. О ней вчера говорено.

— Порядок?

— Тот же, что в левом листе.

Максим кивнул.

— Пропусти, — сказал он Нежданову. — Только сперва запиши.

— Чего записать?

— Его. Имя, что назвал. До какой службы шёл. Какую бумагу нёс. Кто при том стоял.

Нежданов не двинулся.

— Государь, — сказал он. — Дозволь спросить.

— Спрашивай.

— Ты велел мне ночью повторить, чтоб я не ошибся. Кого не пущать?

— Никого без названного списка.

— А коли пойдёт?

— Держи.

— Держать — это как? — сказал Нежданов. — Я тебя, государь, не для спора спрашиваю.

Я спрашиваю, потому что мне у тех дверей стоять. Придёт человек, скажет: слово государево, пусти. Я скажу: назови список. Он скажет: не твоё дело. И пойдёт. Мне его класть?

Он спросил это так же ровно, как говорил про грамоту.

— Нет, — сказал Максим.

— Нет?

— Не класть. Руки не поднимать. Стать в дверях и стоять. Он тебя толкнёт — стой. Он тебя двинет — стой. Кровь нынче не нужна никому, а тебе меньше всех: как кровь пролилась, так спрашивать станут уже не про список, а про кровь, и тебя за неё и возьмут, а того, кто шёл, отпускают.

Нежданов слушал, наклонив голову.

— А коли их пойдёт столько, что без рук не удержать?

— Тогда пусти, — сказал Максим. — И запиши всех.

— Пустить?

— Пустить. Ты мне не ворота держишь, Нежданов. Ты мне держишь имена. Ворота я и без тебя потеряю, а имена, кроме тебя, никто не соберёт.

Нежданов постоял ещё немного.

— А коли двое разом скажут по-разному? — сказал он. — Один: пуцай. Другой: не пуцай. И оба не последние люди.

— Тогда ты не решаешь. Ты обоих держишь у стены и посылаешь ко мне. Или к владыке. Решать не твоё.

— Вот это добро, — сказал Нежданов.

Он сказал это с явным облегчением. Анастасия у двери отвернулась; Максим так и не решил, прятала она усмешку или что другое.

— Писать умеешь?

— Имя своё пишу.

— Микула даст тебе чистый лист, перо и покажет, как ставить. Криво — ладно. Лишь бы читалось.

— К заутрене съедутся, государь, — сказал Макарий со скамьи. — Того уже не отменить ни тебе, ни мне. Съедутся и станут крест целовать, и о том нынче спорят не быть ли, а кому первому.

Максим кивнул. Он давно этого ждал, и всё-таки под рёбрами стало пусто.

Микула поставил на подоконник чернила, подал Нежданову чистый лист и перо и показал, как поставить первую запись. Нежданов стал писать первое имя. Писал он долго, придерживая бумагу всей ладонью, и высунул язык, и от старания у него на шее вздулась жила.

Буквы вышли крупные, тесные, и одна залезла на другую.

Крупные буквы не потеряются в полутьме. Этого пока хватало.

Глава 3. Крест

В палате было тесно, и в этой тесноте оставалось пустое место.

Оно лежало посреди пола: круг чистых половиц, а в круге стоял человек. Люди подходили к нему и не доходили. Один, разговаривая, шагнул было в его сторону, тут же сдвинулся вбок и пошёл по краю.

Первую дыру в заведённом порядке Максим увидел ещё у дверей. Нежданов показал ему лист носителей и едва слышно объяснил: думного дьяка, уже стоявшего над бумагами у стола, в записи нет. Тот оказался в палате прежде, чем сотнику дали лист. Пропуск никто не прятал, и оттого он был опаснее: порядок держал одну дверь, а не всю палату.

Имя человека в пустом круге пришло из тела вместе со сбившимся дыханием: Владимир. Ни отчества, ни вины, ни умысла память к лицу не прибавила. Максим дождался, когда человек назовётся сам.

Его вывели на своих ногах.

Он на этом настоял и теперь понимал, что настоял зря. До кресла он дошёл, держась за плечо человека, которого не знал, и всю дорогу считал вдохи, потому что счёт занимал ту часть головы, которая иначе занялась бы падением.

Он сел. Кресло было жёсткое и высокое, и это оказалось хорошо: в нём нельзя было сползти.

Разговоры у дверей стихали волной. По этой волне Максим различал, кто стоял ближе к выходу и кто смотрел на дверь чаще других.

Анастасия осталась у стены, откуда видела и его, и вход. У стола рядом с думным дьяком стоял Адашев. Он не касался бумаг и только держал перед собой лист созванных людей.

У самых дверей, плечом возле косяка, стоял Нежданов.

Максим поймал его взгляд и чуть повёл подбородком. Тот подошёл и наклонился.

— Все с бумагой записаны? — сказал Максим, не разжимая губ.

— Все, кто шёл через мою дверь с бумагой, государь.

— Иные носители есть?

— Думный дьяк вошёл прежде моего листа. Остальных с бумагой я видел сам.

— Как зовут?

— Иван Михайлович Висковатый.

— Стой у дверей. Входящего или выходящего с бумагой отмечай. Коли его нет в листе — зови Микулу. Людей без бумаги не держи.

Нежданов вернулся на место и прижался затылком к косяку. Если створку толкнут, дерево первым двинет его самого.

Макарий вышел на середину.

Он не стал ждать, пока установится совсем полная тишина, и не поднимал руки. Он просто начал говорить, и голос у него был не громкий, а такой, поверх которого неудобно говорить.

— Государь болен, — сказал он. — Государь в разуме, и говорит, и слышит, и я тому свидетель, и вчерашней ночью был свидетелем. То вы все знаете и от меня слышите наново.

Он помолчал.

— Но болезнь нашего согласия не спрашивает. И оттого надобно нынче, покуда государь говорит, чтобы у державы было имя, за которое держаться, буде Господь возьмёт своё. Имя есть: царевич Димитрий. Иного разговора у нас нынче не будет, и не для иного вас звали.

Максим повернул голову к столу.

— Висковатый.

Дьяк поднял глаза от бумаги.

— Здесь, государь.

— Что у тебя?

— По твоему указу составляю завещательное слово в пользу царевича Дмитрия. Смысл назову нынче. Точных слов не стану выдавать за готовые, пока не сведу весь список.

— Кто при тебе?

— Люди Казны и Алексей Адашев. Но рука в деле моя, государь.

Адашев чуть склонил голову. Висковатый оставил ладонь на своём листе и не стал ссылаться на других писцов.

Максим смотрел не на Макария. Он смотрел, куда пошли глаза.

Он не знал имён, не знал родства, не знал, кто кому должен и кто с кем в тяжбе. У него оставалось видимое. При слове «Дмитрий» несколько человек посмотрели мимо Макария в правую половину палаты. Стоявший в пустом круге не посмотрел никуда.

— Кто говорить будет — называйся, — сказал Максим.

Голос вышел слабее, чем ему хотелось, и он не стал его вытягивать.

— Я нынче худо вижу. Не разберу, кто. Называйся и говори.

Кто-то в правой половине назвалсЯ и сказал:

— Государь, дай Бог тебе здоровья и долгих лет. Мы твоей воле не перечим и перечить не станем. Только рассуди: младенцу крест целовать — то мы целуем не младенцу.

— А кому?

— Тем, кто при нём станет, государь. У них ныне ни чина, ни места, а завтра будет всё. И спрос с нас пойдёт от них, а не от тебя.

— Назови их.

Тот замолчал. Рот у него приоткрылся, потом закрылся: имени не последовало.

— То всякому ведомо, государь, — сказал он наконец.

— Ведомо всякому, а назвать некому, — сказал Максим.

Он хотел сказать мягче, но дыхания не хватило. В правой половине задвигались плечи и рукава; слова заделали сразу нескольких.

НазвалсЯ другой — из тех, что стояли ближе к нему, немолодой, с широкой спиной.

— Государь. Ты жив. Мы тебе служим. Что нам присягать наперёд?

— А коли не наперёд, то когда?

— Когда Бог укажет.

— Бог укажет ночью, — сказал Максим. — И к утру у державы окажется два имени вместо одного. Тебе которое?

Тот потёр большим пальцем край пояса.

— Мне то, за которым сила, — сказал он без обхода.

Кто-то сзади засмеялся коротко и осёкся.

Максим не рассердился. Он был этому человеку почти благодарен: тот назвал силу, уже проступившую во взглядах и пустом круге.

— Ещё кто?

НазвалсЯ третий, помоложе.

— Государь, я присягну. Я хоть нынче, первым. Одного боюсь: присягну, а ты встанешь. И станут спрашивать, отчего я так скоро.

После третьей речи разрозненные движения по палате сложились в одну картину.

Заговор был бы проще. Здесь вслух назвали разные страхи: родню младенца, слишком раннюю присягу, слишком позднюю присягу, силу человека в пустом круге. Один ответ не снимал другого.

Общей речью их не убедить. Надо было разделить страхи на отдельные дела, а для этого у Максима не было ни сил, ни знания, кто из них кто.

— Всё сказали? — спросил он.

Молчали.

— Тогда я скажу. Вины наперёд ни на ком нет. Кто нынче крест целует — тот целует государеву сыну, а не чьей родне. Кто в чём после провинится — с того спросят за дело, и дело будет названо, и свидетель будет назван. По одному слуху вины ни на ком не будет.

Он перевёл дух. На следующую длинную речь его уже не хватило бы.

— Владыко, — сказал он. — Начинай.

* * *

И тогда человек вышел из пустого круга.

Он вышел не спеша, и пустота двинулась вместе с ним: те, мимо кого он шёл, уступали дорогу и тут же принимались поправлять рукав или пояс.

— Владимир, — сказал он.

Назвался, как было велено: ровно, без прибавления. Имя придало телесному узнаванию смысл — Владимир Андреевич Старицкий, родич царя и взрослое имя рядом с младенцем.

— Говори.

— Государь, я не о том, целовать ли крест. Я о том, что после креста.

— Говори.

— Я присягну государеву сыну, — сказал Владимир. — В том сомнения не держи. Но ты мне ответь при них же, а не после, наедине.

Он поднял голову.

— Кто над царевичем станет? Не имя мне назови, а руку. Кто будет казну держать, кто печать, кто войско посылать. Ты болен, государь, и от тебя нынче слово идёт с трудом. А через месяц слово пойдёт легко — только не твоё. И я хочу знать, чьё.

Кашель у дальней стены оборвался. Висковатый перестал водить пером над листом.

— Затем что мне с тем человеком жить, — сказал Владимир. — И ему со мной. И ежели он спросит с меня прежде, чем я успею ему что-нибудь сделать, — а он спросит, — то я хочу нынче, при владыке, слышать, чего с меня можно спрашивать, а чего нельзя.

Максим слушал и держался за подлокотники.

Требование было ясным, а ответ упирался в незнание: Максим не ведал, кто держит Казну, у кого печать и кто посылает войско. Назвать наугад было бы хуже молчания.

В тот же миг сзади, из правой половины, крикнули.

— Государь! Не отвечай ему! Взять его нынче же, куда он с двора не съехал!

Палата дёрнулась.

Задние подались вперёд, передние — вбок, кто-то наступил кому-то на ногу. Несколько человек шагнули к Владимиру, гораздо больше — к дверям.

Нежданов отлепился от косяка и встал в проходе. Он ничего не выхватил и не крикнул. Просто занял дверь, и за его плотными плечами не осталось свободного прохода.

— Стой, — сказал Максим.

Слово не вышло. Вышел хрип.

Он поднялся, хотя не собирался. Пол пошёл вбок; рука успела лечь на спинку кресла. Максим удержался, а палата перед ним медленно вернулась на место.

— Стой, — сказал он ещё раз, и на этот раз вышло.

Все стали.

— Кто крикнул?

Молчание.

— Кто крикнул, — сказал Максим, — тот сейчас назовётся. Или его назовут те, кто рядом стоял. Не назовётся — спрошу поимённо всю сторону.

Человек назвался.

— Что он сделал? — спросил Максим.

— Государь...

— Что он сделал? Не что о нём говорят. Что он сделал. Ты видел?

— Люди рассказывают...

— Ты видел?

— Не видал, — сказал тот.

— Кто видел?

Тот повернул голову — и в правой половине никто не пошевелился, и это молчание было такое отчётливое, что его слышно было ушами.

— Слух от виденного отдели, — сказал Максим. — Слух я и сам могу принести любой и на любого, и на тебя тоже. Дай дело. Кто, когда, при ком.

— Нет у меня того, государь, — сказал человек, и голос у него сел.

— Тогда вины нет.

Он говорил медленно, потому что быстрее не мог. Каждое слово успевало дойти до дверей.

— Слышали все? Вины нет. Без названного дела слух виной не станет. Возьму человека по одному крику — сам признаю, что мне довольно страха. А мне нужно виденное.

Он сел. Сел тяжело, промахнувшись мимо середины сиденья, и сдвинулся.

— Владимир.

— Государь.

— Руку я тебе нынче назвать не могу.

У Владимира чуть переменялось лицо. Губы разомкнулись и снова сжались; простой ответ не дал ему повода перебить.

— Не могу, — повторил Максим. — Я не первый день лежал мимо. Не знаю нынче, кто у меня чем ведаёт и кто за это время что подобрал. Начну называть — назову не то, и завтра ты придёшь ко мне с моим же словом, а я его не вспомню. Так я не хочу.

— Тогда чего ты от меня хочешь? — сказал Владимир.

Один честный вопрос прозвучал на всю палату.

— Записи на моё имя и на имя царевича Димитрия. Креста нынче. И отдельного разбора после.

— Просишь?

— Велю, — сказал Максим. — Просьбой мой приказ не назову.

— Стало быть, выбора мне не оставляешь.

— Не оставляю. Но и вины без дела на тебя не положу.

— Разбор — слово широкое. Под него всё уложить можно.

— Назову предел. — Максим положил дрожащую руку на подлокотник. — Будет писано, что тебе служить положено и чем ведать. Будет писано, чего с тебя спрашивать нельзя и по какому слову нельзя. И будут названы те, кто при разборе стоял и слышал. Не я один. Владыка и люди, которых ты назовёшь.

— И когда то будет писано?

— Как встану.

— А коли не встанешь?

По палате прошёл шорох. Владимир смотрел прямо и глаз не отвёл.

— Тогда останется то, что нынче сказано при владыке и при всей палате, — сказал Максим. — Больше я тебе дать не могу. Обещание — не грамота, я знаю. Грамоты, которой не готов обещать, я тем более не дам.

Владимир молчал.

— Государь, — сказал Макарий.

Он подошёл и стал так, чтобы видеть обоих.

— Крестное целование не петля. — Макарий повернулся лицом к палате; голос прошёл мимо обоих к стенам, длинный и неспешный. — Целование связывает, но и обязывает того, кому целуют. Коли ты, государь, зовёшь князя в присягу, оставь ему службу, а не одно униже-

ние. Не то через год у тебя будет присяга, а службы не будет, и всякий, кто ту присягу вспомнит, вспомнит и то, как её брали.

Макарий повернулся к тем, откуда кричали.

— И за один слух брать людей моего благословения не будет. Ни князя, ни всех, кто стоял с ним рядом.

— Оставлю, — сказал Максим.

— Слышали, — сказал Макарий.

Это его «слышали» прозвучало так же, как ночью. Впервые за утро у Максима появилась опора, названная вслух.

Владимир смотрел в пол.

Потом он поднял голову и сказал:

— В грамоте не пиши, будто я прежде был изменником.

— Не напишу.

— И в разборе не пиши.

— И в разборе.

— Тогда я целую крест, — сказал Владимир.

* * *

Висковатому требовалось довести бумаги. Максима увели в опочивальню; на этот раз он не спорил. Анастасия сняла с него тяжёлую одежду и не дала сразу подняться снова.

— Ты обещал записать, — сказала она. — Не обещал умереть в кресле прежде неё.

— Позовут — вернусь.

— Позовут. А до тех пор лежи.

Он выпил воды и задремал без снов. Когда свет в окне переместился на другую стену, пришёл Нежданов и сказал, что думный дьяк ждёт с готовыми бумагами.

В палате людей стало меньше. У стола остались Макарий, Владимир, Ефросинья, Анастасия, Адашев и допущенные свидетели. Остальных имён Максим по-прежнему не знал и считать их не стал.

Висковатый положил перед собой завещательное дело и отдельную присяжную запись. Первое он составлял по государеву указу в пользу Дмитрия. Вторую должен был дать Владимир.

— На чьё имя записать? — спросил Максим.

— На твоё, государь, и на имя царевича Дмитрия, — ответил Висковатый. — Оба имени стоят. Иного наследника в ней нет.

— Прежняя измена князю приписана?

— Нет. Слова о прежней измене в ней нет. И точных слов прежде чтения я тебе не прибавлю, государь.

Висковатый прочёл записку присутствующим. Максим не пытался удержать каждую формулу: слушал два имени и ждал слов о прежней вине. Имена прозвучали; обвинения не было.

— Это та записка, которой ты требовал? — спросил Владимир.

— Та.

— А обещанный разбор не спрятан в ней?

— Нет. Он будет после, при названных людях.

— Слышал, — сказал Владимир.

Крест принесли и подали Макарию. Он лежал на плате; Макарий поднял его перед собой.

Слова произносил Висковатый, сверяясь с записью. Владимир повторял без запинки. Формулы скользили мимо; Максим слушал два имени и следил за листом, который после должны были унести в Казну.

У Владимира одна рука лежала поверх другой. Под большим пальцем кожа на кисти вдавилась добела.

Потом он наклонился и приложился. Выпрямился не сразу, но голос, когда заговорил, не дрогнул.

Выпрямившись, Владимир взял присяжную запись обеими руками.

— Оба имени слышал, — сказал он. — Запись отдаю. Что меня понудили, не забуду.

— И я того не отрицаю, — ответил Максим.

Владимир передал запись Висковатому. Дьяк принял её при всех и положил отдельно от завещательного дела.

По палате пошёл общий выдох, громче любого слова, сказанного за день.

Дальше подходили остальные. Максим смотрел, как они наклоняются, говорят и отходят. Голова стала пустой и звонкой, и он держал её прямо лишь потому, что уронить её при них было нельзя.

Когда стало кончаться, от правой стены отделилась женщина.

Она была немолодая, прямая, в тёмном, и шла она не быстро, но так, что перед ней расступились, — и расступились совсем иначе, чем перед Владимиром: не отходя, а давая дорогу.

— Ефросинья, — сказала она.

Назвалась, как было велено. Максим отметил и это.

— Говори.

Висковатый повернул к ней присяжную запись.

— Княгиня. К сыновней записи прикладываешь ли свою печать?

— Нет, — сказала Ефросинья.

Она не отвела глаз от дьяка.

— Сын мой дал запись и крест целовал. При тебе, при владыке и при всех. Его слово назад не берут. Моей печати на этой записи не будет.

— Не берут.

— Запиши отказ, Висковатый, — сказал Максим.

— Запишу, государь.

— Теперь ты скажи при них же, чего с сына моего не спросят, — продолжила Ефросинья.

— Я сказал.

— Ты сказал, что будет писано. — Она чуть повела головой. — Государь, я не с тобой спорю. Я знаю, как это бывает. Нынче ты скажешь, а писать станут другие, и напишут они, как им сподручнее, и придут к тебе, а ты будешь болен. И выйдет грамота, и в ней всё будет верно, и всё будет не то.

Максим смотрел на неё и думал, что она сказала лучше, чем он сам сумел бы сказать.

— Чего ты хочешь?

— Чтоб при том писании стоял мой человек, — сказала Ефросинья. — Не спорить. Слушать и после сказать мне, что слышал.

— Пусть стоит.

Она не поблагодарила. Она помолчала и сказала:

— И ещё одно. Владыка нынче станет звать нас мириться. Ты меня к тому не зови.

— Матушка, — сказал Макарий.

— Не зови, владыко, — сказала она, не повернувшись к нему. — Сын присягнул, и сын служить будет, и я тому не помеха. А мириться — это когда обиду забывают. Я не забуду. Я её при себе подержу, целее будет.

Она поклонилась ровно, как требовал чин, и отошла к стене.

Вокруг неё снова освободилось место.

Круг был опять. Тот же самый, с той же чистотой половиц, только теперь он стоял не посреди палаты, а у правой стены, и в нём была она, а Владимир стоял среди людей, и с ним говорили, и кто-то даже тронул его за рукав.

Пустота не исчезла. Она переехала.

Люди пошли к дверям медленно, задерживаясь у выхода. У дальнего стола выдавали служебные росписи назначенным носителям. Нежданов пропускал тех, у кого руки были пусты, и сверял свой лист только с носителями бумаги.

Микула подошёл, когда палата почти опустела.

Он держал доску обеими руками; большой палец побелел от нажима.

— Государь.

— Говори.

— Я записи сотниковы сверил с росписями.

— И?

— Одна служебная роспись пошла не так.

Следующий вопрос не пришёл сразу. Максим показал на доску; Микула продолжил.

— Отдельную служебную роспись выдали после чтения записи, — сказал Микула. — В ней тот же порядок, что на левом листе. В записи выдачи ей назван выход через дверь, где стоит сотник. Я носителю это прочёл. А он пошёл к другой двери.

— Нежданов.

Тот подошёл.

— Он у тебя записан?

— Записан, государь. И имя, и до какой службы шёл, и что нёс, и кто при том стоял. Роспись он получил после чтения записи. Микула назвал ему бумагу, я записал человека.

— Ты его сам видел?

— Сам. От дальнего стола до другой двери из виду не выпускал.

— Он в неё вышел?

— Вышел. За ней сени. Дальше, на дворе, я его с моего места уже не видел.

— Когда?

— После чтения записи, когда люди стали расходиться.

Максим посмотрел на ту дверь.

Выход был затворен. У порога стоял вчерашний караульный, не сменённый, как и велено. Имя носителя записали, срок отметили службой, Микула назвал ему один выход, а Нежданов увидел другой.

И роспись ушла не тем выходом.

Глава 4. Два списка

К вечеру Микула принёс весть: служебная роспись, ушедшая из палаты через другую дверь, к назначенным воротам так и не пришла.

Караул у Казны сменился по череду. Смена прошла, как проходила всегда: люди сдали место и приняли его, и никто не счёл это нарушением.

Максим слушал и считал двери.

Его слово стояло у двери опочивальни. Он поставил его туда ночью, при свидетеле, и караул уже начинал заметно уставать. За поворотом была другая дверь, и туда его слово не дошло, потому что он её не назвал. У Казны сменились. У ворот сменились. Везде, где он не назвал человека и место, всё шло само.

— Ты не пойдёшь, — сказала Анастасия.

Она стояла у него на дороге и не собиралась отходить.

— Пойду.

— Ты нынче уже стоял. Я видела, как ты садился. Ты промахнулся мимо кресла.

— Промахнулся.

— И пойдёшь?

— Пойду.

Она посмотрела на него и вдруг сделала не то, чего он ждал. Она не стала уговаривать. Она отошла в сторону, взяла с лавки шубу и подала ему сама, и подала так, чтобы он не тянулся.

— Тогда шубу.

— Жарко.

— Тебе кажется, что жарко, — сказала она. — Надень.

Он надел. Она застегнула на нём верхнее, потому что у него не вышло с первого раза, и, застёгивая, сказала не поднимая глаз:

— Прежде ты бы велел принести всё к себе.

— Прежде я бы и велел.

— А нынче?

— А нынче я хочу видеть, откуда несут.

Она затянула застёжку сильнее, чем надо.

— Хоть недолго, — сказала она.

В Казне было холоднее, чем в сенях.

Помещение было низкое, с толстыми стенами, и стены отдавали тем ровным холодом, какой набирается за зиму и держится до лета. Пахло пылью, кожей и мышами. Свет был от фонарей и от свечи, которую Микула поставил на крышку сундука и загородил ладонью, когда отворили дверь.

Кресла тут не было. Максим сел на сундук.

Он сел, и сундук был низкий, и колени вышли выше, чем следовало бы сидеть государю, и он подумал об этом ровно одно мгновение, а потом перестал: ноги были благодарны, а на кого он тут похож, разбираться было некогда.

— Показывай.

Микула поставил доску со старыми листами в стороне. Из отдельной связки вынул две вернувшиеся росписи и разложил их на поставленных рядом сундуках.

— Те, что ты видел до присяги, остались на доске. А эти обе вернулись нынче.

— Вернулись куда?

— Сюда. — Микула повёл рукой. — Что разнесено и прочитано, то сносят назад и кладут.

Не всё, но что положено.

— Кто сносит?

— Кому велено.

— А кто велит?

Микула посмотрел на него.

— В старой записи имени нет, государь. Сказано только: кому велено.

— Ладно. Показывай, что нашёл.

Микула развернул оба листа и положил рядом. Угол каждого прижал пустой чернильницей, чтобы бумага не свернулась, и всё это делал медленно.

— Гляди на слова, государь.

Максим наклонился. Наклоняться было плохо, кровь пошла в голову, и он переждал.

Обе росписи вернулись с целыми печатями. Теперь они лежали раскрытые, и строки можно было вести рядом.

— Печати целы, — сказал он.

— Целы, — сказал Микула.

— А что не то?

Микула повёл пальцем вдоль строк, не касаясь их.

— Здесь велено нести через назначенные ворота. А здесь — через те, что назовут при выдаче.

— Люди те же?

— Те же. И дело названо то же.

— Запись выдачи что говорит?

— Для обоих называет назначенные ворота.

Максим перевёл взгляд с одной строки на другую. Одни слова оставляли носителю единственный путь, другие позволяли переменить его чужим устным словом.

— Печать на котором верная?

— На обоих она цела, — сказал Микула. — Больше я по ней не скажу. Она не расскажет, при каких словах и при каких людях её приложили.

— Тогда зачем ты меня сюда звал?

— Затем, что слова разошлись с записью выдачи, — сказал Микула.

Он положил ладонь между листами, не накрыв ни одного.

— В одном сказано одно, в другом другое, а в Казне записан один путь. Вот за это я поручусь.

— А кто переменял слова?

Микула убрал ладонь.

— Этого я не видел.

В Казне стало очень тихо. Слышно было, как за стеной, во дворе, кто-то стучал по дереву — не работал, а сбивал с сапог налипшее.

Максим сидел на сундуке, положив руки на колени.

Целая печать не отвечала ни на один нужный вопрос. Нужны были люди, которые видели слова до отправки, человек, выдавший список, и носитель, слышавший названный путь.

— Микула.

— Государь.

— Кто мог назвать другой путь?

И вот тут Микула сделал шаг назад.

Он не отступил ногой — он отступил лицом: то, что до сих пор смотрело на бумагу с любопытством, вдруг закрылось.

— Не скажу, государь.

Максим поднял на него глаза.

— Почему?

— Спрашивай иначе, — сказал Микула. — Только сперва дозволю мне сказать одно слово, и я его скажу, а после хоть гони.

— Говори.

— Я тебе покажу слова, запись выдачи и разницу пути. — Он говорил быстрее обыкновенного, и голос у него был сухой. — А ты по этим строкам завтра велишь взять человека. И человека возьмут, и он скажет что скажут. И станет так, что я его положил своим пальцем.

Он поставил палец на сундук и убрал.

— Государь, я не за него боюсь. Я и не знаю ещё, за кого мне бояться. Я боюсь того, что ты мне поверишь больше, чем я сам себе верю.

Максим дождался, пока Микула сам поднимет глаза.

— Не поверю, — сказал он.

— Государь...

— Не поверю. — Он повторил это твёрже, потому что первое вышло тихо. — Слушай меня. Две разные строки — не вина. Это вопрос, и я с ним пойду спрашивать, а не вешать. Если я по одной строке кого-нибудь возьму, в другой раз ты мне ничего не принесёшь, и будешь прав, и я останусь слепой. Мне нужны твои глаза дольше, чем мне нужен один человек.

Микула стоял.

— Понял? — сказал Максим.

— Понял.

— Теперь скажи про ту роспись, что ушла из палаты. Куда она должна была идти?

Микула наклонился к бумаге; голос у него снова стал ровным.

— Она должна была идти дальше, с назначенным гонцом, — сказал он. — В Казну нынче возвращаться не должна.

— С каким?

— С назначенным. Их немного.

— Где они выходят?

— Ворота назначены, — сказал Микула. — Их называют при выдаче.

* * *

Дверь отворилась, и вошёл Нежданов.

Он вошёл не пригибаясь — тут притолока была высокая — и оттого показался ещё длиннее.

— Государь. Дворовый караульный назвал человека из моего листа. Я вышел: тот пошёл не в те ворота.

— Ты его видел?

— Сам видел. Из сеней я его не вёл; увидел уже во дворе.

— Останови.

Нежданов был уже в дверях.

— Микулу с собой, — сказал Максим ему в спину. — И бумаги не трогай без него.

Он попробовал встать и встал. Держаться было не за что, и он положил руку на стену.

Двор был мокрый и чёрный, и на нём лежал не снег, а то, что остаётся от снега к марту, — серая каша с водой поверху. Идти по ней было тяжело. Максим прошёл сколько-то шагов и остановился у стены, и дальше не пошёл, и оттуда всё было видно.

Ворота были в дальнем конце, и над ними горел фонарь.

Человек шёл к ним быстро, не бегом.

Он шёл, как ходят люди, у которых есть дело: не оглядываясь, прямо, слегка отставив руку с котомкой от бока. Он не таился. И это было хуже всего, потому что таящегося видно, а этот шёл по своему двору по своему делу.

Нежданов вышел ему навстречу и встал на пути.

— Стой.

Человек стал. Посмотрел вбок, на свободный край двора, но караульный у ворот уже видел обоих.

— Стой, — сказал Нежданов опять.

Человек остановился. Нежданов его не коснулся.

— Руки покажи.

Человек показал обе руки.

— Как звать?

— Фома, — сказал человек.

— Микула, — позвал Нежданов, не оборачиваясь. — Иди сюда. Гляди на меня и гляди на него. Я его не обыскиваю. Я жду тебя.

Микула подошёл, придерживая доску.

— Стою, — сказал он.

— Что при тебе, Фома? — спросил Нежданов.

— Роспись.

— Одна?

— Одна.

— Достань сам. Не я. Ты.

Фома достал лист сам. Нежданов ему не помогал и не торопил.

Нежданов принял лист и положил на доску Микулы. Микула поднёс доску к фонарю у ворот и читал долго.

— Печать цела, — сказал он громко, так, чтобы слышали и караульные у ворот. — Слова те, что во втором списке.

— В каком? — спросил Нежданов.

— В том, где путь можно переменить устным словом. А в записи выдачи ворота названы другие.

Максим от стены не пошёл. Он стоял и смотрел, и в груди у него было пусто и звонко, и он держался за то, чтобы не сесть в кашу.

— Фома, — сказал Нежданов. — Ворота назначены какие?

— Те, — сказал Фома и мотнул головой куда-то за спину.

— А ты в какие идёшь?

— В эти.

— Отчего?

— Велено.

— Кем?

Фома молчал.

— Кем велено? — повторил Нежданов ровно, без нажима, и оттого страшнее.

— Мне велено, — сказал Фома. — Мне отчего не сказывают. Сказали: нынче сюда. Я и иду.

— Кто сказал?

Фома посмотрел на фонарь, потом на свои руки.

— Савва, — сказал он.

Максим оттолкнулся от стены.

Он дошёл до них сам, и это было последнее, на что его хватило. Он встал так, чтобы фонарь был сбоку, и посмотрел на Фому.

Фома был обветрен, худ и смотрел прямо, не падая в ноги.

— Его трогали? — спросил Максим.

— Нет, — сказал Нежданов. — Остановился сам.

Максим повернулся к Фоме.

— Ты не под виной. Слышишь? Ты нынче свидетель. Со двора не сойдёшь, покуда я не отпущу, и это тебе не наказание: я тебя ещё спрошу при других. Есть у тебя кто, кому сказать, чтоб не искали?

Фома захлопал глазами.

— Конь, — сказал он.

— Что конь?

— Конь у ворот стоит, государь. Расседлать бы да отвести. Он стоялый: застоится, ноги нальёт.

Максим сглотнул. Среди печатей, ворот и чужих распоряжений Фома первым спросил о коне, не о себе.

— Расседлать, — сказал он. — Слышал, Нежданов?

— Слышал.

Обратно Максим шёл, держась сперва за стену, потом за Микулын рукав. В Казне он снова сел на сундук и только тогда велел привести Савву.

* * *

Савву привели в Казну.

Он вошёл, поклонился и стал, где указали, — у стены, лицом к свету. Свет падал на него, а не на остальных. Правильный человек. Правильный во всём.

На сундуке перед ним лежали два сравнённых списка и роспись, принесённая Фомой.

— Ворота нынче переменены, — сказал Максим. — Кем?

— Мною, государь.

Он сказал это сразу. Максим ждал длинного и получил короткое, и это сбilo ему первый заготовленный вопрос.

— Отчего?

И вот тут пошло длинное.

— Оттого, что назначенные ворота нынче с утра стояли под съездом, — сказал Савва. — Съезжались, и стояли возки, и лошади, и было тесно, и людям было не пройти, и то всякий подтвердит, кто нынче там был. А когда бывает такая теснота, то по прежнему обычаю посылают в другие ворота, дабы не задержать дела, и то не нынче заведено, и не мною, и сколько при Казне хожу, всякий раз так делали, и никто того не считал за перемену, и укорить тут было некого, потому что и не перемена то вовсе, а обыкновение...

— Стой, — сказал Максим.

Савва остановился.

— Про тесноту я понял. Теперь скажи короче. Ты велел Фоме идти в другие ворота?

— Велел.

— Кому ещё ты велел нынче?

Пауза была недлинная.

— Не упомяну всех, государь.

— А ты вспомни.

— Государь, дело такое, что людей много, и всякий день их много, и всякому...

— Микула, — сказал Максим. — Возьми бумагу.

Микула взял.

— Пиши, — сказал Максим. — Савва, называй. Всякого, кому ты нынче велел идти не туда, куда писано. И всякого, через кого велел, — если велел не сам, а через кого. И того, кто тебе о тесноте сказал, если ты не сам видел.

Савва поднял голову.

— Государь, — сказал он. — Дозволь спросить: в чём моя вина?

Хороший вопрос. Снова его задал не тот, от кого Максим ждал.

— Ни в чём, — сказал он.

— Тогда...

— Ни в чём, — повторил Максим. — Вины нынче на тебе нет, и я её на тебя не кладу, и вслух говорю при этих людях, чтоб они слышали. Есть два списка, в которых не сходятся слова и запись выдачи. Есть перемена ворот. Кто велел — знаю, ты сказал сам. Одно с другим я покамест не связываю, потому что связать нечем.

— Так отчего же...

— Оттого, что я хочу проверить твою тесноту, — сказал Максим. — Ты сказал: всякий подтвердит, кто там был. Вот я и спрошу тех, кто там был. А чтобы спросить, мне надо знать, кого. Называй.

Савва помолчал.

— Ты сам видел тесноту? — спросил Максим.

— Сам, государь. У ворот был.

Потом он начал называть.

Он называл ровно, без запинок, и Микула писал, и перо шло по бумаге с тем шершавым звуком, от которого в холодной комнате делается ещё холоднее. Максим слушал не имена. Он слушал промежутки — и промежутков не было. Савва называл всех подряд, спокойно, будто перечислял поклажу.

— Всё? — спросил Максим.

— Всё, государь.

— Микула, прочти имена вслух.

Микула прочёл. После каждого имени Савва говорил: «тот». В конце не прибавил никого.

— Всех назвал?

— Всех, кого посылал сам или через другого.

— Если сыщется неназванный, спрос будет не за тесноту, а за то, почему ты его скрыл.

Савва поклонился.

— Ступай, — сказал Максим. — Дело своё делай, как делал. Ты не под стражей и под стражей не будешь, покуда я не буду знать за что. Только вот что: с нынешнего дня Микула сидит там же, где ты. Не над тобой. Рядом.

— Как повелишь.

Он вышел, и в дверях повернулся, и поклонился ещё раз — от двери, как положено, — и ничего в его лице не переменилось ни разу за весь разговор.

Максим сел на сундук.

Он сидел и слушал, как в ушах бьёт кровь, и ждал, пока это уляжется, и оно улеглось не скоро.

— Микула.

— Государь.

— Много нынче бумаг вышло из Казны?

Микула потянулся к записи, но Максим остановил его ладонью.

— Больше, чем за вечер сверить, — сказал Микула. — А поутру опять понесут.

— И каждую я сам не увижу.

— Не увидишь, государь.

Максим кивнул.

Он проверил один путь и истратил всё, что оставалось в теле. Вместо виновного получил вопросы. Завтра бумаг снова станет больше, чем он сможет прочесть и проводить до ворот.

Он посмотрел на сундук.

На нём лежали два сравнённых списка, роспись Фомы и запись выдачи. Печати на списках были целы. Слова, учёт и путь всё равно разошлись.

— Утром покажешь это Адашеву и владыке, — сказал Максим.

— Всё?

— Всё, что остановлено и ждёт моего слова. Надо понять, где проверка удерживает зло, а где держит само дело.

Микула положил запись выдачи между двумя списками. На одном краю сундука осталось слово, на другом — путь, а посередине — то, чего никто не исполнил одинаково.

Глава 5. Пять звеньев

Утром Микула показал Адашеву и Макарию вчерашнюю связку — два сравнённых списка, роспись Фомы и запись выдачи. После него к полудню не принесли ни одного обычного дела.

Он ждал с утра и сперва был этому рад: значит, спокойно. Потом заметил, что не несут и того, что носили всегда, — ни приложить печать, ни прочесть, ни просто передать на словах. Бумаги исчезли не потому, что дела кончились: люди у дверей решили, будто новый запрет относится ко всему.

Не то чтобы дело встало. Дело не встало — дело ушло в сторону от него, как вода уходит от вбитого поперёк кола: обтекла и пошла дальше, и кол стоит.

— Кто нынче был? — спросил он.

— Никого, — сказала Анастасия.

— Совсем?

— Приходили. Постояли в сенях и ушли, не спросясь.

Позже пришёл Адашев и попросил дозволения внести.

Внесли двое. Это была не стопка — это был короб, и его несли за ручки, и поставили на пол, потому что на стол он не влезал.

Адашев отпустил людей и остался.

Он был сух, держался прямо и двигался с быстротой человека, которому весь день приходится разбирать множество мелких дел. Поклонился ровно, без прибавления. Максим уже научился это замечать: кто кланяется точно по мере, тот бережёт себя для разговора.

— Государь, дозвожь показать.

— Показывай.

Адашев не стал доставать всё. Он без спроса присел на корточки у короба, быстро развязал его и вынул верхний лист.

— Вот. Корма лошадям ждут на дворах, а выдавать не смеют.

— Отчего ждут?

— Оттого, что писано выдать, а выдать не дают. Спрашивают: кто слышал, как государь то велел.

— Я того не велел.

— Ты и не должен был, — сказал Адашев. — Такое велят не государи.

Он положил лист на пол и потянул из короба следующий.

— Вот. Человек просится со двора: мать помирает. Его не пускают. Спрашивают, по какому списку.

Рядом лёг лист о другой задержке.

— Вот. Тут о починке. Крыша течёт над палатами, где сложено сукно. Люди пришли за подводами, подвод не дали.

Следом — челобитная.

— Вот челобитная. Её и прежде-то читали не скоро, а нынче она вовсе легла: тот, кому её нести, боится идти без имени, а имя ему никто не даёт.

Он выкладывал их на пол одну за другой, и они ложились в ряд, и ряд шёл через всю палату, и Максим смотрел на этот ряд и молчал.

— Сколько там всего? — спросил он наконец.

— Не считал, — сказал Адашев. — Считать не успеваю, потому что прибывает.

— Много?

— Короб полон, а сверху ещё несут.

Адашев поднялся и отряхнул колени.

— Государь, я тебе поперёк не иду, — сказал он. — Я вижу, что ты нашёл дурное. Ты его нашёл, и это хорошо, и я бы не нашёл, потому что мне не с чего было искать. Только ты позволь мне сказать, как оно теперь выходит.

— Говори.

— Нежданов у своих ворот проверяет носителей бумаги, как ты велел. Но у других дверей слышали только запрет и не поняли границы. Там стали останавливать всякого с листом: ошибиться боятся. И вместе с худым встала часть обычных дел.

— Стоит и худое.

— Стоит и худое, — согласился Адашев. — Только рядом с ним лежит всё это. Скоро у тебя будет не одно дело о ложном списке, а множество дел о том, что где-то не дали корма и лошади пали, где-то сукно сгнило, а где-то человек не доехал к матери. И каждое станет твоим, государь, потому что ты велел.

Максим слушал и понимал, что тот прав, и понимал ещё, что тот прав не совсем.

— Скажи мне вот что, — сказал он. — Ты видел, что всё стоит. Отчего не пришёл раньше?

Адашев не сразу ответил.

— Оттого, что ты стоял на присяге и после ходил в Казну, — сказал он. — И оттого, что я не знал, чего ты хочешь. Государь, скажу прямо, а ты как хочешь. С тех пор никто не знает, чего ты хочешь. Знают одно: нельзя выносить без имени. А что можно — не знает никто. Потому всякий сидит и ждёт: сидеть безопаснее.

Вот теперь всё встало на место.

Максим откинулся на спинку и ненадолго закрыл глаза. Остановку в мыслях легко было принять за слабость больного; слабость была настоящая.

Он думал не про Адашева. Он думал про то, что сделал ночью, и видел это теперь ясно, как видят чужую работу.

Он поставил запрет. Запрет был правильный и на своём месте: без него из этих покоев ушёл бы список с распоряжением, которого он не давал. Но запрет был один, устный и на всё сразу, а держался на человеке, который не может встать без стены и не знает по именам никого в этом доме.

Такое не живёт. Такое стоит ровно столько, сколько стоит на ногах тот, кто его сказал.

— Адашев.

— Государь.

— Ты прав. И я его сниму.

Адашев чуть подался вперёд.

— Не весь, — сказал Максим. — Я его сниму со всего и оставлю на малом. И вот об этом малом мне с тобой и надо говорить, и не только с тобой.

Позвали Макария и Микулу.

* * *

До рабочего помещения Казны Максим дошёл, держась за Адашевых рукав. Микула ждал с доской; Макарий сел на скамью у стены, не рядом, а поодаль, чтобы видеть всех троих. Максим уже знал за ним эту привычку.

Короб с обычными делами принесли следом и поставили у стены. Микула разложил на низком столе вчерашнюю связку: два сравнённых списка, роспись Фомы и запись выдачи; два первых листа остались отдельно на его доске.

— Начнём с простого, — сказал Максим. — Не с того, как проверять. С того, что проверять. Всё проверять нельзя, мы это уже видели. Стало быть, надо назвать, чего нельзя выпускать без проверки, а всё прочее пусть идёт как шло.

— Как определишь? — спросил Адашев.

— По цене ошибки.

— Государь, цену ошибки всякий меряет по-своему.

— Оттого и назовём вслух и запишем, — сказал Максим. — И там, где не сойдёмся, спорить будем нынче, а не после, когда кто-нибудь уже поедет.

Микула вынул чистый лист и положил его отдельно от вчерашней связки.

Максим начал считать по пальцам.

— Первое. Распоряжение о наследнике.

— Всякое? — спросил Адашев. — И корм царевичу через это поведём?

— Не всякое слово о царевиче. Только то, где распоряжаются самим наследником.

— Это уже можно отличить от корма.

— Второе. Взять человека под стражу или отпустить.

— Не возражаю, — сказал Адашев. — Тут ошибка сама за человеком пойдёт.

— Третье. Приложить царскую печать.

— Тогда ты удержишь всякий список, которому она нужна, — сказал Адашев.

— Задержу не список. Пусть заранее будет назван человек, который приложит печать.

Без этого опасное распоряжение не выходит.

— А кто решит, опасное ли оно?

— Эти четыре статьи. Ничего пятого не прибавляем.

— Четвёртое? — спросил Микула.

— Сменить караул.

— Караул меняют и ночью, — сказал Адашев. — Там долго спорить нельзя.

— Потому и надо знать, чьим словом старый ушёл и кто принял новый.

Макарий шевельнулся на скамье.

— Государь.

— Владыко.

— Ты между государевым словом и делом ставишь ещё одного человека, — сказал Макарий. — И вот тут я тебя останавливаю.

Он сложил руки на коленях.

— Ты хочешь, чтобы твоё слово слышал свидетель. Я разумею зачем. Только помысли, что из того выходит. Нынче слово государя стоит само по себе: сказано — и всё. А коли объявишь, что без свидетеля оно не в силе, то сам скажешь людям: моё слово могут подменить. Иной, кому раньше и в ум бы не пришло, услышит и подумает: стало быть, можно.

Максим молчал.

— Это первое, — сказал Макарий. — Второе хуже. Свидетель — человек. Он может солгать. И тогда у лжи будет не одна опора, а две: и печать, и человек, и разобрать станет труднее прежнего.

— Владыко, — сказал Максим. — Ты меня отговариваешь?

— Нет, — сказал Макарий. — Я тебе называю цену. Ты её плати, коли хочешь, но плати зная.

И тут он сделал то, чего Максим не ждал.

— А теперь я скажу за тебя, — продолжил старик. — Князь Владимир целовал крест при людях, и никому не показалось, будто оттого крест слабее. Слово при свидетеле тяжелее, а не легче. Ты ставишь его не потому, что себе не веришь, а потому, что хочешь отличить своё слово от чужого. Так и говори. И не называй это вечным законом. Назови испытанием: сперва увидите цену, потом решите, оставлять ли.

Максим провёл пальцем по краю списка.

— Пиши: испытание, — сказал Максим Микуле. — Срока нынче не называем.

— Пишу.

— Теперь звенья.

Для звеньев Максим снова загнул палец.

— Первое: писец. Кто писал — назван. Не «писано в Казне», а имя.

— Тут цена, — сказал Микула.

Он сказал это тихо, но сказал, и все повернулись.

— Говори.

— Государь, коли писец назван, то с писца и спросят, — сказал Микула. — А писец не знает, что он пишет, — он пишет, что дают. И выйдет, что за опасное дело отвечает тот, кто в нём меньше всех волен. И станет так: доброго писца на опасное не дозовёшься, а сядет тот, кому всё равно.

— Что предлагаешь?

— Тогда пиши прямо: писца называют для вопроса, не объявляют виновным, — сказал Микула. — Если слова разошлись, его сперва спрашивают, а не берут. Иначе добрый писец на опасное не сядет.

— Пиши, — сказал Максим. — Одно имя, не готовая вина.

— Второе: свидетель. Кто слышал государево слово. Имя, и где стоял.

— Ночью где я тебе возьму свидетеля? — спросил Адашев.

— Караульный, — сказал Максим.

— Караульный не всякое слышать должен.

— Взять человека или увезти наследника может подождать, пока разбудят свидетеля, — сказал Максим. — Смена караула ждать не всегда может.

— С ней как?

— Старший прежнего караула слышит, кого ставят вместо него, и не уходит, пока не назовёт нового.

Макарий поднял голову.

— Государь, присягу ты уже связал с моим словом, теперь и это дело тянешь к нему.

— Только там, где ты сам слышал меня, — сказал Максим. — Отказаться можешь.

— Не могу, — сказал Макарий, и это прозвучало у него без всякого удовольствия.

— Третье: печать. Не просто «печать приложена», а имя того, кто приложил её к этому списку.

— И это цена, — сказал Адашев. — Тот человек станет виден. А как он станет виден, то к нему и придут. Не с ножом — с подарком.

— Придут, — согласился Максим. — Имя от подарка не спасёт. Оно только не даст спрятаться за словами «в Казне приложили».

— А коли названный занеможет?

— Тогда прежде называют другого. Без имени печать не прикладывают.

— Четвёртое: исполнитель. Кто понёс и кому отдал. Это у нас уже есть.

— Есть, — сказал Микула. — Нежданов ведёт.

— На воротах ведёт, — поправил Адашев. — За каждым списком он не поедет.

— Значит, называют того, кто понёс именно это распоряжение, — сказал Максим. — Нежданов отвечает только там, где сам исполняет.

— Пятое, — сказал Максим.

Он помолчал.

— Обратная весть. Кто вернулся и сказал, что сделано.

Микула перестал скрести пером.

— Вот тут, государь, ты не сможешь, — сказал Адашев.

— Отчего?

— Оттого, что для неё нужны люди и кони. Один повёз и должен ехать дальше по своему делу; повернёшь его — остановишь другое. Пошлешь второго — второго у меня нет. У меня и первых внатяг.

— Отказываться от вести нельзя, — сказал Максим. — Иначе пятое звено останется словом на доске.

— Тогда не требуй отдельного гонца.

— Адашев. Скажи мне: сколько нынче в этом коробе дел, про которые никто не знает, дошли они или нет?

Адашев посмотрел на короб.

— Много, — сказал он.

— То-то и оно. Мы искали один список, ушедший не тем путём. А сколько списков никуда не дошло и про них никто не спросил, потому что спрашивать не заведено? Я не знаю. И ты не знаешь. Это страшнее целой печати на неверной дороге.

— Государь, я тебе не спорю про пользу, — сказал Адашев. — Я тебе говорю про коней.

— Тогда так. Обратная весть приходит с первым надёжным человеком, который едет обратно. Он называет себя, кого видел и что исполнено. Пока вести нет, запись остаётся незакрытой.

Адашев помолчал.

— Это можно, — сказал он неохотно. — Это уже можно.

— Пиши, Микула.

Микула писал долго.

Он писал сидя на низкой скамье, положив доску на колени, и переспрашивал. Наконец поднял голову.

— Государь, тут одно дело идёт по двум статьям. Коли наследника велют взять со двора, это и наследник, и взятие человека.

— Пусть обе статьи стоят на полях, — сказал Максим. — Список один, и пять звеньев одни. Дважды людей гонять не станем.

Микула повторил его слова и дописал строку.

Потом Микула прочёл вслух.

Читал он ровно, без выражения. Формула цеплялась на поворотах, одна строка ушла к самому краю листа. Но Микула дошёл до конца, ни разу не спросив, что означают написанные слова, а Адашев не остановил его ни на одной статье.

Но бумага лежала перед ними, и каждое возражение оставило на ней след.

— Савву позвать, — сказал Максим.

* * *

Савва пришёл и выслушал стоя. Ему прочли ещё раз. Он ни разу не перебил.

— Понял? — спросил Максим.

— Понял, государь.

— Возражай.

Савва чуть наклонил голову.

— Государь, я не возражаю. Дело твоё, и наказ твой, и я по нему стану ходить, как велено. Я тебя упрежу об одном, а ты уж как знаешь.

— Упреждай.

— Встанет, — сказал Савва. — Не всё, а много. И встанет не там, где ты ждёшь. Ты думаешь — встанет опасное. Опасного мало, и оно пойдёт, потому что кому надо, тот и людей сыщет, и свидетеля сыщет, и время найдёт, и всё у него будет по наказу. А встанет спешное и малое, у кого нет ни людей, ни времени. Не успеешь оглянуться — станешь разбирать не измену, а то, отчего не привезли дров.

Он поклонился.

— И ещё одно, государь, коли дозволишь.

— Говори.

— Всякий, кому не хочется чего-нибудь делать, теперь скажет: не могу, наказ. И проверить его будет нечем, потому что наказ и вправду есть.

Максим долго молчал.

— Это ты верно сказал, — ответил Максим. — Обе вещи верно. Адашев, коли обычное дело опять начнёт вставать за этим наказом, приносишь его мне так же, как нынче. В наказ нового звена не прибавляем.

— Принесу, государь, — сказал Адашев.

— Ступай, Савва.

Савва вышел.

Адашев проводил Савву взглядом, потом посмотрел на Максима, но ничего не спросил.

— Государь, — сказал Микула. — Дозволь спросить, покуда не разошлись.

— Спрашивай.

— Оно ведь не удержит.

— Нет, — сказал Максим.

— Совсем?

— Не удержит того, кто заранее связал людей по всем звеньям. Писец солжёт, свидетель подтвердит, при печати смолчат, исполнитель уйдёт не туда, обратную весть выдумают — и я ничего не докажу одним этим наказом. Он удержит того, кто хотел сделать зло в одиночку, одним словом. Заставит его искать сообщников, оставлять имена и ждать. Больше он ничего не сделает, и я вам этого не обещаю.

— Тогда добро, — сказал Микула.

Он подхватил доску под мышку и вдруг остановился.

— Государь. А с Фомой как?

Максим не сразу понял.

— С каким Фомой?

— С гонцом. Он с ночи на дворе сидит. Ты удержал его свидетелем и обещал спросить при других.

Максим посмотрел на Макария и Адашева.

— Веди сюда. И Нежданова позови.

Фома вошёл вместе с Неждановым. Конюх успел дать ему сухой кафтан; рукава были коротки, и Фома всё время тянул их к запястьям.

— Кто велел сменить ворота? — спросил Максим.

— Савва, государь.

— Сказал, отчего?

— Сказал: тесно. Больше не сказывал.

— Роспись ты сам показал Нежданову?

— Сам.

— Руку на тебя поднимали?

— Нет. Велели ждать.

Максим повернулся к Макарию.

— Слышал?

— Слышал, — ответил тот. — И Адашев слышал.

— Теперь отпустить, — сказал Микула.

— Отпускай.

Микула не двинулся.

— Государь, — сказал он. — Отпустить человека — одна из четырёх статей.

Перо Микулы замерло над доской.

Максим посмотрел на бумагу, лежащую у Микулы на доске, потом на короб у стены, потом на свои руки.

— Сколько на это надо?

Микула стал считать.

— Писец — я. Государево слово слышал владыка. Для печати надо позвать того, кто её приложит. Исполнитель — Нежданов. Обратную весть принесёт караульный, когда Фома выйдет в назначенные ворота.

— Скоро управитесь?

— Не сразу, государь. Пока призовём человека из Казны, пока Нежданов проведёт, пока караульный вернётся.

— Делайте.

Фома вышел с Неждановым. За окном его коня водили по кругу; человек рядом глядел под ноги и не отпускал повод.

Ждать пришлось дольше, чем Максим предполагал. Микула вернулся с готовым списком. Следом вошёл человек из Казны, назвал себя при Макарии и приложил печать. Микула прочёл Фоме, что тому дозволено покинуть двор; Нежданов взял список и повёл гонца к воротам.

После снова ждали.

Наконец дворовый караульный явился в палату и назвал себя.

— Фома вышел в назначенные ворота, сел на коня и поехал прочь. Сам видел, государь.

Микула вписал обратную весть последней строкой и прочёл подряд пять имён. Фомы в комнате уже не было.

Адашев поднял из короба лист о корме.

— А это теперь идёт без пяти звеньев?

— Идёт как прежде, — сказал Максим. — И все такие дела тоже.

Адашев положил лист отдельно, у самого края стола. За ним лёг лист о мокнущем сукне. Короб начал понемногу пустеть.

Микула перевернул пробный наказ. Вверху первой строкой стояло: «О наследнике».

Максим задержал взгляд на первом слове. До сына он ещё не дошёл. Эту дверь он решил проверить сам.

Глава 6. Дыхание

Через три дня, к вечеру, до сына он всё-таки дошёл, и никто его не остановил.

Он шёл медленно: тело ещё помнило болезнь. У дверей стояли люди, кланялись и открывали перед ним; ни один не спросил, зачем царь идёт дальше.

У ворот с опасной бумагой уже спрашивали, кто писал, кто слышал и кто понесёт. У двери, за которой спал его сын, не спрашивали ничего.

Он остановился на пороге и постоял, пока это в нём укладывалось.

Все эти дни он строил забор. Забор вышел кривой, дорогой, всем поперёк, и он честно за него дрался и был готов драться ещё. Весь забор стоял вокруг государева слова, бумаги и ворот. А эта дверь перед ним открылась без единого вопроса.

На детской половине было жарко и тесно от вещей.

Пахло молоком, тёплой пелёнкой и горелым маслом от лампы. Зыбка едва заметно покачивалась.

У двери стояла Анастасия с несколькими женщинами; ещё одна сидела на низкой скамейке у самой зыбки. Она покачивала её рукой, держа на коленях забытое шитьё.

Все встали.

— Сядьте, — сказал Максим.

Они сели, и та, что у зыбки, села последней и опять положила ладонь на край колыбели.

Он смотрел на них и не знал, которая из женщин всё время держит ребёнка, а которая лишь вошла с поручением. Различить их по одежде он не мог.

— Которая при нём неотлучно?

— Ульяна, — сказала Анастасия и показала на ту, что у зыбки.

— Прочие пусть выйдут.

Прочие вышли, и стало слышно, как за дверью шуршат их одежды.

Максим подошёл к зыбке.

Он не знал, чего ждал. В зыбке спал очень маленький человек: одна рука была задрана к уху, другая лежала поперёк груди, будто его уронили и он на лету заснул.

Лицо было красное во сне и совсем не такое, как днём у людей. Верхняя губа собиралась и разбиралась.

Он не был похож ни на кого. Максим смотрел и добросовестно искал сходства и не находил: младенцы похожи на младенцев.

Катя спала точно так же, с задранной к уху рукой. Однажды он, дурак, разогнул ей руку, чтобы лежала ровно; дочь проснулась с криком, а Лена сказала ему всё, что думала. С тех пор Максим знал про себя простую вещь: не он первым замечал, когда с ребёнком было неладно.

Он выпрямился и отвернулся к стене.

Потом повернулся обратно.

* * *

— Ульяна.

— Государь.

— Он здоров?

Она чуть помедлила.

— Здоров, государь.

— Не так спрашиваю. — Максим сел на подставленную скамью, близко, чтобы не говорить громко. — Я не спрашиваю, здоров ли. Я спрашиваю: по чему ты это видишь? Ты всё время при нём. На что глядишь?

Ульяна посмотрела на Анастасию.

— Говори, — сказала Анастасия.

— Первое — как берёт, — сказала Ульяна.

Она сказала это не сразу и потом уже не останавливалась.

— Когда всё как обычно, берёт жадно и до конца, после отваливается сам и засыпает на груди. А иной раз берёт и бросает. Возьмёт, потянет, отпустит и опять возьмёт. Он и голодный, и не ест. Вот за этой переменной я гляжу.

— Дальше.

— Второе — сон. — Она повела рукой над зыбкой, не касаясь. — Когда всё ладно, спит подряд, хоть рядом заговори. А иной раз сон рваный: заснёт, дёрнется, проснётся, поворочается. И не то чтобы плачет — а не лежит.

— Третье?

— Плач. Плач разный, государь. Есть голодный — он ровный, с передышкой, и как дашь, так и кончился. Есть мокрый — тот сердитый и короткий. А есть такой, что ни с чего не унять: и сухой, и сытый, и на руках, а он всё одно. Вот того я боюсь.

— Четвёртое — жар?

— Жар рукой чую, государь, — сказала Ульяна. — Лоб врёт: он и от печи горяч, и от пелёнок. Я шупаю сзади, где волос начинается: там кожа тонкая. Но и тут ошибиться могу, потому всегда говорю, что именно трогала.

Максим слушал и не перебивал.

Максим ещё раз посмотрел на ребёнка: тот спал в той же позе. Ульяна всякий раз возвращалась к тому, как было вчера и как стало нынче.

— Откуда знаешь? — спросил он.

— Руками, государь, — сказала Ульяна. — Иначе тут никак. Гляжу, как было вчера и как стало нынче.

— Ошибалась?

— Ошибалась.

— Часто?

— Когда как. Бывало, скажу — а ничего худого и не выйдет, и надо мною посмеются. Бывало, промолчу — и тоже ничего, и тогда я себя хвалю, что смолчала. А бывало, промолчу — и после хожу и думаю: видела ведь.

— Пока я лежал, — сказал Максим, — сюда кто входил?

Ульяна посмотрела на Анастасию.

— Царица входила, — сказала она. — Из посторонних — никого.

— И вам ничего не надобилось?

— Отчего же. Корм задерживали, и я посылала спросить. Мне ответили: не до того нынче.

— Кто ответил?

— Того я не видала. Мне передали.

Максим помолчал.

Пока весь дом стоял у его двери и слушал дыхание больного царя, неподалёку решалось не менее телесное дело — без свидетеля и без имени, одним задержанным кормом.

— Ульяна.

— Государь.

— Ты сказала: берёт и бросает. Ты можешь заметить перемену прежде других?

Она молчала.

— Знаешь? — сказал он.

— Порой замечаю, государь.

— И что ты делаешь, когда замечаешь?

И вот тут она посмотрела в пол.

— Говорю.

— Кому?

— Царице.

— А ещё кому?

— А больше некому, государь.

Максим подождал. Она не прибавила.

— Скажем так, — сказал он. — Утром велено нести царевича в дорогу. У двери ждут люди, всё готово. А ты ночью видела, что он взял и бросил, и спал рвано. И жара ещё нет. Ты что сделаешь?

Ульяна подняла глаза и больше их не отвела.

— Ничего, государь.

— Отчего?

— Оттого, что я скажу, а мне ответят: жару нет. И будут правы: жару нет. — Она сложила руки на коленях. — А коли я стану держать своё, мне скажут: не твоего ума дело, кому куда ехать. И тоже будут правы, государь. Не моего ума.

— А коли ты права окажешься?

— Тогда скажут, что не углядела, — сказала Ульяна.

Она сказала это ровно, как говорят о погоде.

За зыбкой скрипнула половица.

* * *

Анастасия подошла и стала так, чтобы он её видел.

— Ты понял? — сказала она.

— Понял.

— Не понял, — сказала Анастасия. — Ты сейчас скажешь: пусть говорит мне. И это будет ничего.

— Отчего ничего?

— Оттого, что тебя не будет. — Она говорила негромко и очень внятно, не оглядываясь на Ульяну. — Пока ты болел, тебя не было. Завтра будешь занят — и опять тебя не будет. Уйдёшь в Казну разбирать списки — и тебя не будет. А у двери уже будут ждать, и кто-нибудь скажет: пора.

— Тогда пусть говорит тебе.

— И это ничего.

— Отчего?

Анастасия помолчала.

— Оттого, что я тоже скажу, — проговорила она. — И мне ответят так же, как ей, только вежливее. Мне скажут: матери всегда боязно. И это такое слово, государь, против которого ничего нельзя. Оно правдивое. Мне и вправду боязно. И оттого всё, что я скажу, будет слышно как боязнь, а не как дело.

Максим смотрел на неё.

Он думал последние дни, что понимает, как здесь всё устроено. Теперь увидел ещё одну дыру.

— Чего ты хочешь? — сказал он.

— Не защиты, — сказала Анастасия. — Ты меня уже оберёг, спасибо тебе. Ты велел стеречь бумагу и двери. А ты вели вот что: чтобы она могла остановить.

— Кто — она?

— Она. — Анастасия не показала на Ульяну, и от этого вышло сильнее. — Ты приказал беречь. А кто ныне посмеет сказать кормилице, что она вправе остановить дорогу?

Ульяна на скамейке сидела очень прямо и не шевелилась.

— Ульяна, — сказал Максим. — Отойди к двери. Не выходи, а отойди.

Она встала и отошла.

— Говори прямо, — сказал он Анастасии.

— Прямо: свяжи слово так же, как связал опасные распоряжения, — сказала она. — Чтоб было имя, чтоб знали предел её права и чтоб никто не мог потом сказать, будто не слышал.

— Ты слышала про наказ?

— Слышала, — сказала Анастасия. — Если твой порядок может удержать опасную бумагу и смену караула, отчего он не может остановить выезд наследника?

Она чуть повела подбородком в сторону зыбки и на неё не посмотрела.

— Ульяна, — позвал он. — Иди сюда.

Она подошла.

— Слушай меня и после повторишь. Я не спрашиваю, согласна ли ты. Я говорю, как теперь будет.

— Слушаю, государь.

— Коли перед дорогой увидишь перемену — как он берёт, как спит, как плачет или горяч ли на ощупь, — говоришь вслух. Не одной царице: говоришь и тому, кто ведёт людей в дорогу. Дозволения говорить не спрашиваешь.

— Государь, он меня слушать не станет.

— Придётся. Коли ты сказала, царевича не везут.

Ульяна побледнела.

— Ждут чего?

— Нового решения — моего либо царицына. Кто-то из нас решит, ехать ему или нет, выслушав тебя. А до того — стоят.

— Государь...

— Не всё. Слушай внимательнее. — Он подождал, пока она поднимет глаза. — Ты вправе остановить, но не вправе решить. Говоришь только то, что сама заметила: видела, слышала либо щупала. Не «худо будет» и не «нельзя ехать», а как он брал, спал, плакал и был ли горяч. Что из того выйдет — не твоё.

Ульяна долго молчала.

— А коли я ошибусь? — сказала она наконец. — Коли я скажу, а он здоров?

— Тогда дождутся нового решения.

— И меня за остановку...

— Коли назвала то, что вправду видела, за остановку с тебя не спросят. Я велю спрашивать одно: что именно ты заметила.

— Ты уже велел, чтобы распоряжение о наследнике шло через писца, свидетеля, печать, исполнителя и обратную весть, — сказала Анастасия. — Не оставляй новое право одним словом в этой комнате.

Максим посмотрел на неё и кивнул.

— Позовите Микулу и Нежданова. Словом у двери не кончим.

Ждать пришлось недолго. Микула пришёл с чистым листом и письменными принадлежностями; Нежданов остановился у порога.

— Пиши, — сказал Максим. — Коли Ульяна перед дорогой назовёт, как ребёнок брал, спал и плакал, был ли горяч, царевича не везут до нового решения моего либо царицына. Сама она не решает, ехать или нет. Коли назвала виденное, а вышло иначе, её не берут и не наказывают.

— «Назвала виденное» кто разберёт? — спросил Микула.

— То, что она сама видела, слышала или щупала, — ответил Максим. — Не догадку о будущем.

Микула записал и прочёл. Анастасия назвала своё имя как свидетель. Человек из Казны, войдя, назвал себя при них и приложил к листу царскую печать.

Нежданов принял список.

— Кому объявишь? — спросил Максим.

— Тем, кто стоит у этой двери, и старшему над людьми при отъезде.

— Прочти им. Пусть повторят предел: остановить — не значит решить. Потом вернись с вестью.

Нежданов ушёл со списком. Ульяна всё это время стояла, сцепив пальцы перед собой; костяшки побелели.

Когда Нежданов вернулся, он назвал людей, которым прочёл приказ, и повторил их ответ. Микула внёс обратную весть последней строкой. Только после этого Максим повернулся к Ульяне.

— Повтори теперь ты.

— Коли замечу перемену, скажу, что сама видела. Дорогу остановят до нового слова твоего либо царицына. Решать буду не я. За честную ошибку меня не возьмут.

— Так.

Микула прочёл внесённую обратную весть. Нежданов снова унёс список к двери, а остальные служилые вышли. В комнате опять остались Максим, Анастасия, Ульяна и спящий ребёнок.

— Тяжело? — спросил он.

— Тяжело, государь, — сказала она.

— Знаю. Я тебе не милость дал.

— Это ещё не всё, — сказала Анастасия.

— Чего не всё?

— Ты дал ей право остановить. Стало быть, теперь к ней придут.

— Кто?

— Тот, кому надо ехать. Или тот, кому надо не ехать. — Анастасия говорила спокойно, и оттого выходило тяжелее. — Прежде её никто не замечал — оттого и не трогали. А нынче ты поставил её на дороге. И всякий, кому та дорога нужна, пойдёт не к тебе и не ко мне. Он пойдёт к ней. И говорить будет ласково.

— И что она скажет?

— Что велят, — сказала Анастасия. — Она не боярыня, государь. Ей велят — она скажет. Ульяна опустила голову и не возразила, и это было хуже возражения.

Максим смотрел на край зыбки под Ульяниной ладонью.

— Ульяна.

— Слушаю, государь.

— Коли к тебе придут и станут учить, что сказать, — кто бы ни пришёл, — ты его выслушаешь и спорить не станешь. Спорить тебе нельзя, ты его не пересилишь и только себе навредишь.

— А что мне?

— После скажешь царице: приходил такой-то и говорил то-то. И всё. Ни отказывать, ни соглашаться при нём не надо.

— А коли он придёт не сам, а пришлёт?

— Скажешь, кто пришёл и от кого назвался.

— А коли не назовётся?

— Значит, так и скажешь: приходил, а не назвался.

Ульяна помолчала.

— Государь. А коли я скажу, что приходили, а он отопрётся? Моё слово против его слова.

— Отопрётся, — согласился Максим. — И я не докажу. И трогать его не стану, потому что не за что. Я его просто буду знать. Мне покамест и того довольно.

— И тебе от меня одно обещание, одно, и больше я тебе не насулю. Коли тебя за твоё слово станут теснить — не бей мне челом и не жди случая. Скажи царице. Она скажет мне.

— А коли не поможет?

— Может и не помочь, — сказал Максим. — Я не сулю, что уберегу. Я говорю, что услышу.

Ульяна поклонилась и ничего не ответила.

Анастасия отошла к зыбке, постояла над ней, потом вернулась и стала напротив него, близко, глядя снизу вверх.

— Теперь ты, — сказала она.

— Что я?

— Ты говоришь со мной, будто впервые видишь, — сказала Анастасия. — Спрашиваешь то, что прежде знал. Ждёшь, пока я назову людей в твоём же доме. Нынче не знал, которая женщина неотлучно при сыне. Я это вижу.

Максим стоял.

Правду он сказать не мог. Одно признание поставило бы и её, и ребёнка перед угрозой, которой он сам пока не умел назвать.

— Я много забыл, — сказал он.

Ложь была всё та же и уже начинала протираться.

Анастасия смотрела на него.

— Ну хорошо, — сказала она.

— Я спрашивать перестану, — сказала она. — Мне от твоих ответов ни тепло ни холодно, я их уже наперёд знаю. Только ты помни одно: я перестала спрашивать. Глядеть я не перестала.

Глава 7. Мирить живых

Двадцатого марта, после службы, Адашев принёс ещё одну запись о задержанных делах. Два дела людей Старицкого двора не отвергли и не решили. На каждом стояло одно: погодить. Ни обвинения, ни государева опала, ни имени того, кто велел ждать.

Максим никому этого не приказывал. Но безымянное ожидание уже делало то же, что сделал бы приказ.

С записью он пошёл к Макарию.

Митрополичьи покои пахли старой кожей, бумагой и маслом от лампы. Макарий сперва благословил его и лишь после указал на кресло.

— Ты нынче ко мне пришёл, — сказал он. — Прежде звал.

— Прежде я лежал.

— И оттого звал?

— И оттого. А нынче от твоих дверей до своих, может, и не дойду. Я посижу, владыко.

Максим опустился в кресло и прижал ладонь к боку, дожидаясь, пока дыхание выровняется.

— Владимир присягнул, — сказал он. — А его людям с тех пор отвечают: погоди. Я опалы не давал.

— Знаю.

— Откуда?

— Ко мне его люди приходили. Ко мне-то ходить не заказано.

— Что говорят?

— О своих делах. Про тебя — ничего. Ни доброго, ни худого.

— И это новость?

— О государе всегда говорят, — ответил Макарий. — Хоть слово скажут, хоть вздохнут. А эти берегут даже вздох.

Максим положил перед ним запись Адашева.

— Я скажу, как вижу, а ты поправь. Владимир дал запись на моё имя и на имя Дмитрия, крест целовал при людях. Запись и целование связывают его. Чего ещё?

— Его связывают, — согласился Макарий. — А дела к нему не возвращают.

— Не понял.

— В тот день в полной палате кричали: взять князя. Ты не дал его взять, и правильно сделал. Но слышали и твой отказ, и тот крик. Отказ прозвучал один раз. Крик теперь повторяют у каждой двери, только без слов.

— Ему ведь не отказывают.

— Оттого и хуже. Человеку говорят: не нынче, зайти после. Назавтра говорят то же. Вины нет, опалы нет, а дело до конца не доходит.

— Значит, никто не нарушил моего слова.

— Каждый по отдельности — нет. Все вместе уже сделали опалу, которой ты не объявлял.

— И как мне спросить с них, если каждый покажет настоящее дело, ради которого велел погодить?

— Не начинай с кары. Сперва верни князю место, которое будто бы никто не отнимал. Тогда увидишь, кто мешает делу, а кто просто оглядывался на соседнюю дверь.

— И что из того выйдет?

— Взрослый князь с именем, честью и без дела. Ни в чём не уличённый, никому не нужный на службе. Возле такого скоро соберутся люди.

— Какие?

— Которым нужно сильное имя. Своего у них нет, а чужое оставили без дела.

— Ты говоришь так, будто служба сама удерживает от измены.

— Нет. Служба удерживает человека внутри общего дела. Без неё ему остаются только честь и обида. Не лучшие спутники, когда вокруг шепчут.

— А присяга?

— Присяга ставит предел князю. Она не заставляет остальных считать его своим.

Максим провёл пальцем по краю записи. Способ был знакомый: человека не гнали, ему просто переставали давать работу, пока он сам не уходил. В прежней жизни уходили из конторы. Здесь уходить было некуда; здесь начинали собирать вокруг себя тех, кому тоже не дали места.

— Владыко, а коли я его помирю, а он после всё-таки пойдёт против?

— Может пойти.

— Вот так просто?

— А чего ты хочешь от меня? Чтобы я назвал тебе завтрашнюю вину ныне живого человека?

— Хочу знать, за что держаться.

— Держись за нынешнее. Нынче он присягнул. Нынче дела у него отнимают без твоего слова. Первое связывает его, второе растит обиду.

— А завтра?

— Завтра снова поглядишь на дело. Мёртвых помянуть легко: они уже не переменятся. Живых мирить трудно, потому что живой назавтра иной. Тебе бы один раз и накрепко.

— Хочется.

— Так не бывает.

— Стало быть, всякий раз начинать сначала?

— Не сначала. С памяти о прежнем и с проверкой нынешнего. Мир не стирает того, что было; он не даёт вчерашнему крику одному решать завтрашнее дело.

Максим потёр лоб. Жара уже не было, а привычка проверять осталась.

Имя Старицкого оставляло в памяти дурной привкус. Он помнил исход, но не год, не повод и не верную цепь поступков. После спасения Дмитрия даже прежний исход перестал быть надёжной подсказкой. Привкус не был свидетелем.

— Спроси меня, что хотел, — сказал Максим.

Макарий смотрел на него поверх сложенных рук.

— Ты его боишься?

— Опасаюсь.

— Это не одно и то же. Тогда пусть придёт сюда.

— Ко мне?

— Ко мне. Ты придёшь, он придёт, и оба будете у меня. Ни ты у него, ни он у тебя.

— И этого довольно?

— Нет. Моё условие: он войдёт и выйдет свободно. Что бы ни сказал.

— А коли скажет лишнее?

— Тем более выйдет.

— А коли я передумаю?

— Тогда звать его не стану.

Максим подвинул записку к Макарию.

— Зови.

* * *

Владимир пришёл после службы. Он поклонился Макарию, потом Максиму и остался стоять.

— Государь.

— Садись.

— Постою, государь.

— Я стоять не могу, а глядеть снизу вверх мне надоело. Садись.

Владимир сел на край скамьи. Руки держал на коленях, не пряча их в рукава.

— С твоей присяги люди твоего двора не довели до конца ни одного дела, — сказал Максим. — Отчего?

— Оттого, что ходу нет.

— Дела есть?

— Есть. Мои приходят, им говорят: погоди.

— Кто говорит?

— Разные люди. И всякий раз другие.

— Назови.

— Зачем? Ты их спросишь, и каждый скажет правду: был занят, не успел, велел зайти после. Никто из них мне не угрожал. Просто для моих людей у каждого всегда находится чужое дело прежде.

— Ты считаешь это опалой?

— Нет. При опале хотя бы знают, что случилось.

— Чего ты хочешь?

— Одного. Слушай внимательно, государь: повторять не стану.

Он выпрямил ладони на коленях.

— Ты вправе мне не верить.

Максим не ответил.

— Ты государь. Можешь не верить кому угодно, мне в том числе. Но не верить — одно. Писать — другое.

— Что писать?

— Строку, в которой я стою под сомнением без названного дела. Хоть в отписке, хоть в памяти. Мы с тобой умрём, а бумага останется. Её прочтёт человек, который не видел ни тебя, ни меня. Он не услышит, как ты спрашивал и как я отвечал. Увидит одну строку.

— И что?

— По той же строке станут читать весь мой дом.

— Ты за свой дом просишь или за себя?

— За то, чтобы после меня осталось моё дело, а не чужое подозрение. Если я виноват — пусть прочтут, в чём. Если дела нет, одна тень переживёт нас обоих и станет доказательством для рода.

— А живого ответа там уже не будет.

— Потому я и говорю нынче, пока мы оба живы.

В комнате стало тихо. Макарий не вмешивался.

Максим мог легко сказать: не напишу. Обещание ничего бы не стоило. Писцов было много, не каждый список проходил перед царём.

— Я уже обещал не писать, будто ты прежде был изменником без названного дела. То слово остаётся. Но за всякую будущую строку и всякое чужое перо не ручаюсь.

Владимир поднял голову.

— Не ручаешься?

— Не обещаю того, чего не могу исполнить. Я нынче посулю, а после ты принесёшь чужую бумагу с теми же словами. Я скажу: не велел. Что тебе с моего оправдания?

— Тогда о чём мы говорим?

— О пределе для такой строки.

— Каком?

— В день присяги я сказал при людях: без названного дела вины нет. Теперь говорю о бумаге. Пишут не «князь сомнителен», а названное дело: что сделал, при ком и кто видел. Нет названного дела — нет строки о вине.

— Это уже велено?

— Так я сказал при людях и от слова не отступлю. Не ради тебя одного.

— А коли дело назовут ложно?

— Тогда спор будет о названном поступке и свидетеле. Ты сможешь ответить на слова, а не на тень.

— И ложь оттого не станет правдой?

— Не станет. Но у неё появятся рука, время и человек, которому можно задать вопрос.

— И кто удержит писца?

— Никто не удержит всякое перо. Но если найдёшь бумагу, где про тебя написано без дела и свидетеля, неси её мне. Я не стану прежде спорить, верно там или неверно. Спрошу: чья рука и по чьему слову.

— При людях?

— При людях.

— И писца не возьмут прежде вопроса?

— Не возьмут лишь за то, что его рука на листе. Сначала спросят, кто дал слова. Это тот же предел, который я поставил для опасного приказа.

Владимир провёл большим пальцем по шву на рукаве.

— Это меньше, чем я просил.

— Меньше.

— И может не удержать.

— Может.

— Зачем же даёшь?

— Другого у меня нет. Приязни дать не могу: нет её у меня к тебе, и врать не стану. Могу дать то же, что всякому: чтобы вину называли делом.

— Ты предлагаешь мне равную меру вместо особого слова.

— Особое слово кончится вместе со мной. Равную меру труднее отменить ради того, кто тебе неприятен.

— Тебе я неприятен?

— Я тебе не доверяю. Это не одно и то же, что объявить тебя виновным.

Владимир коротко усмехнулся.

— Ты переменялся, государь.

— Я болел.

— Все болеют.

Он замолчал, но взгляда не отвёл.

— Довольно, — сказал Макарий.

Оба повернулись к нему.

— Я вас позвал и за свободный выход поручился, потому скажу обоим. Вы долго торгуетесь о бумаге, которой пока нет. Князь просит не писать того, чего не видел. Государь обещает разбирать то, чего не пишет сам. Так можно разойтись довольными, а завтра всё останется по-прежнему.

— Что же ты велишь, владыко? — спросил Владимир.

— Не велю. Прошу взять нынешнее дело. Государь говорит: твои люди ждут у дверей. Значит, где-то в нынешней росписи твоё место стало меньше. Поглядим на неё.

— А коли там всё в порядке? — спросил Максим.

— Тогда скажу при вас обоих, что ошибся.

— И что князь зря пришёл?

— Нет. Разговор не станет зря только оттого, что один лист окажется полон. Но тогда не станем выдумывать дыру, которой нет.

— И выпустишь князя?

— Моё условие не менялось.

Владимир поднялся.

— Идём.

Максим велел позвать Адашева и принести нынешнюю и прежние служебные росписи.

* * *

В малой государевой палате Адашев уже разложил служебные росписи. Макарий сел у двери; Владимир остался по другую сторону стола от Максима.

Листы лежали по времени. Края прежних потемнели от рук, нынешний был светлее и ещё не успел выгнуться. Максим не знал большинства стоявших там имён, зато видел оставленные между строками промежутки: в них чужая осторожность могла исчезнуть так же чисто, как человек.

— Покажи нынешнюю, — сказал Максим.

Адашев подал верхний лист.

— Ищи князя Владимира Андреевича.

Адашев повёл пальцем по строкам. Перевернул лист, вернулся к началу и прочёл второй раз.

— Нет его, государь.

— Вычеркнут?

— Не вычеркнут. Имени нет.

— В прежней росписи?

Адашев взял другой лист.

— Здесь стоит.

— По чьему слову пропал?

— Слова не записано.

— Кто писал нынешнюю?

— С одного листа начинали, после передавали. По этой строке виновного не назову.

— Я спросил не про виновного.

— Тогда скажу так: рука одного писца, сверяли другие. Где имя выпало, из листа не видно.

— А из прежней видно, что оно должно было перейти?

— Видно. Здесь имя стоит между теми же службами. В нынешней они сошлись, а князь выпал.

— Значит, у нас есть пропуск. Умысла пока нет.

— Так, государь.

Владимир наклонился к росписи, не касаясь её.

— Вот и вся моя опала, — сказал он. — Чистой строкой.

— Чистой строки тут нет, — возразил Максим. — Тут как раз пустое место.

— Моим людям от того не легче.

— Не легче.

Владимир выпрямился. Он не потребовал назвать писца и не посмотрел на Макария. Остался стоять над пустым местом в росписи, не отводя глаз от Максима.

Максим повернулся к Адашеву.

— Впиши князя внизу. Нынешним числом. И рядом напиши, что прежде имени не было, а теперь внесено по моему слову при князе и владыке.

— Будет видно, что внесли после, — сказал Адашев.

— Пусть будет видно.

- И всякий увидит, что первый список был неполон.
- Пусть увидит и это.
- Государь, дозволю возразить.
- Говори.
- Завтра придёт всякий, чьё имя выпало, и потребует: впиши меня, как князя.
- Потребует — спросим, какое дело и где его прежнее место.
- Их будет много.
- Тогда узнаем, кого ещё перестали вписывать без слова.
- И всякий спор станет государевым делом.
- Нет. Ты проверишь прежнюю роспись и нынешнюю. Есть имя и служба — возвращаешь на место открытой припиской. Нет — приносишь мне. Пустого места за чистоту не выдаём.
- А если прежняя роспись сама неверна?
- Тогда одного листа мало. Поднимешь ещё один и позовёшь человека, который знает службу. Я не велю верить первой бумаге только потому, что она старше.
- Это уже не одна приписка, государь. Это разбор каждой выпавшей строки.
- Да. Потому и начинаем не со всех, а с тех, кто сам пришёл и назвал дело.
- Адашев помолчал.
- Это можно исполнить.
- Оттого и велю.
- Адашев придвинул к себе лист и стал писать. Он не прятал приписку между строками: начал внизу, отделив её заметным промежутком. Вписал имя Владимира, нынешнее число, государево слово и тех, кто слышал исправление.
- Перо заскребло по бумаге. Никто не заговорил, пока Адашев не дописал последнего имени и не положил перо. Владимир один раз сжал пальцы и тут же разжал; после руки его снова лежали неподвижно.
- Служба твоя при тебе, — сказал Максим. — Удел твой при тебе. Я их не отнимал и нынче подтверждаю при владыке.
- Служба без дела — одно слово.
- Потому имя возвращают в роспись не после нашего разговора, а при тебе.
- И завтра моих людей пропустят?
- Завтра им не вправе сказать «погоди» лишь потому, что твоего имени нет. Если задержат по делу, Адашев запишет какое.
- А коли опять не назовут?
- Приходи с записью. Теперь у тебя будет с чем сравнивать.
- Это первое, — сказал Владимир. — А второе?
- Максим сел: слабость опять поднялась от коленей к груди.
- Второе — то, чего у меня нынче нет. Ты в день присяги спросил, чего с тебя нельзя требовать. Я обещал дать письменную ясность, когда встану.
- Ты встал.
- До этой палаты дошёл. Это не одно и то же.
- Стало быть, не напишешь.
- Напишу. Но не наскоро. В новой записи будет названо, какую службу ты сохраняешь, что с тебя вправе спросить и чего мартовский спор сам по себе не доказывает.
- Что я не изменник?
- Что без названного дела тебя нельзя так записать.
- И что от меня всё же требуется?
- Служба государю, верность присяге и исполнение того, что будет названо открыто. Не угадывать, чего я испугаюсь завтра.
- Опять меньше.

— Опять столько, сколько могу исполнить.

Макарий поднял голову.

— И кто спросит с тебя за срок, государь?

— Ты. Когда смогу назвать срок, назову его при тебе.

— Не уклоняйся слишком долго. Неназванный срок растёт сам.

— Не стану.

— Я услышу, — сказал Макарий. — И князь услышит. Тогда молчание уже не будет удобно ни одному из вас.

Владимир посмотрел на свежую приписку.

— А присяга?

— Первая остаётся в силе. К новой вернёмся: она должна назвать службу и предел прямо, уже без мартовской спешки и принуждения.

— Дважды крест целуют, когда первому слову не верят.

— Или когда первую запись взяли принуждением и в спешке.

— Это ты так говоришь.

— Это я так говорю. Ты вправе мне не верить. Мы с тобой на том и стоим.

Адашев поднял лист и прочёл приписку вслух. Там стояли нынешнее число, имя Владимира, государево слово и имена тех, кто слышал исправление. Старого пропуска не скрывали.

Максим попросил прочесть ещё раз ту часть, где говорилось о прежнем отсутствии имени. Адашев повторил без украшения. Владимир слушал, глядя не на него, а на строку.

— Так? — спросил Адашев.

Владимир наклонился, прочёл сам и выпрямился.

— Так написано.

— Этого довольно? — спросил Максим.

— Для нынешней росписи.

— А для мира?

— Для мира ты обещал другую запись.

— И ты примешь её, если она не назовёт тебя другом?

— Я потребую, чтобы она не называла меня прежним изменником. Дружбы я у тебя не просил.

Он поклонился Макарию, потом Максиму.

— Нынче ты её не написал, государь.

— Нынче не написал.

Владимир вышел свободно, как обещал Макарий. Примирения не было. На столе осталась открытая роспись с поздней строкой, которую никто не пытался выдать за прежнюю.

Глава 8. Книга выдачи

Двадцать восьмого марта, днём, Максим попросил список, по которому отпустили Фому. Микула не пошёл искать.

Он открыл сундук у стены, раздвинул две связки и вынул нужный лист прежде, чем Максим успел повторить просьбу.

— Вот.

Максим взял список. Печать была цела, последняя весть об отпуске внесена. Фома давно уехал на своём коне. Микула достал лист, не сверившись ни с какой отдельной записью.

Росписи с разными словами о воротах, запись их выдачи и перехваченный у Фомы список лежали отдельной связкой. Старые листы оставались на своей доске. Савва отвечал за прежнее размещение бумаг; Микула мог свести выдачу и возврат новых опасных списков. Отдельной общей записи для этого пока не было, а разрозненный след оставался на самих листах и у разных людей.

— Микула.

— Государь.

— Ты когда в последний раз спал не возле этих сундуков?

Микула потёр распухшее запястье и отвёл глаза к окну.

— Не припомню.

— Садись.

— Я успеваю, государь.

— Знаю. Потому и садись.

Микула опустил на край сундука. Лицо у него было серое, веки покраснели, правую руку он держал на весу.

— Скажи мне другое, — продолжил Максим. — Ты занеможешь не навсегда, а хоть на одну службу. Что тогда встанет?

— Всё.

— И ты об этом думал.

— Всякий день думаю. — Микула посмотрел на лист в руках Максима. — Я тебе скажу, коли дозволишь. Ты меня поставил высоко. Не чином — я как был, так и есть. Ты меня поставил так, что через меня идёт. И оттого я нынче боюсь не Саввы и не бояр.

— А чего?

— Что однажды скажут: ты один всё знал, ты один и виноват. И ответить мне будет нечем, потому что я и вправду один знал.

Максим вернул ему закрытый список.

— Оттого мы и сидим. Я хочу книгу.

— Какую книгу?

— Простую. Только для тех четырёх дел, что идут по новому наказу. Чтобы опасный список вышел отсюда и оставил след.

— В книге?

— В книге.

Микула долго смотрел на него.

— Это можно. Только сперва ты меня выслушай про то, отчего такие книги не живут.

— Слушаю.

Микула взял со стола узкую полосу бумаги, оставшуюся от подрезки, и разгладил ладонью.

— Запись пишет усталый человек после дела. Лист уже ушёл, люди разошлись, свечу пора гасить. Если заставить его писать много, сперва он станет сокращать, потом отложит, а после припишет по памяти. По памяти — это уже не запись, а сказка.

— И что из того?

— Писать надо мало. Вот сюда, в одну строку. Столько, сколько человек повторит всякий раз, а не только при тебе.

— Что в строке?

— Три вещи, и ты не прибавляй. Первое: как названо дело — не весь список, а столько, чтобы один от другого отличить. Второе: кто понёс. Третье: воротился ли список с обратной вестью.

— Число?

— Нынешнее число ставим в начале.

— А прошёл ли носитель через назначенные ворота?

— Это знает Нежданов, коли сам исполнял тот список.

— В твоей книге того не будет?

— Не будет.

— Это важнее половины прочего.

— Важнее. И всё равно не будет. Государь, ты выбирай: либо строка, которую пишут всегда, либо запись, которую пишут через раз. Я тебе третьего не дам.

— А коли две строки?

— Вторая скоро станет пустой.

— А коли велю карать за пустую?

— Тогда её заполнят чем попало.

Максим провёл пальцем вдоль чистой полосы.

— Хорошо. Как названо дело, кто понёс, вернулся ли. И нынешнее число.

— Так будут писать.

— Но одной твоей строки мало.

— Мало, — согласился Микула. — Оттого я и просил выслушать.

— Что предлагаешь?

— Пока ничего. Я знаю, что вышло и что вернулось. Савва знает, где лежало прежде и откуда брали. Нежданов знает то, что сам провёл через ворота. Покуда это врозь, один человек не может выдать свою память за весь порядок.

— А книгу кто поведёт?

— Писать буду я. Но книга не должна сделать мою память правдой только потому, что она моя.

Максим кивнул на полосу.

— Тогда начинай с того, что умеешь: короткая строка и признанный предел.

* * *

Савва вошёл, когда Микула ещё держал чистую полосу на ладони, и задержал взгляд на бумаге.

— Книгу заводите? — спросил он.

— У двери услышал? — спросил Максим.

— У двери. Микула сказал про строку, ты — про книгу. Дальше не слушал.

— Тогда говори теперь.

— Дозволишь?

— Дозволяю.

Савва сложил руки перед собой.

— Книга — вещь добрая, государь. Только всякое из этих опасных дел станет ждать того, кто пишет.

— Сейчас тоже ждёт писца.

— Сейчас писец — одно из пяти звеньев. А станет ещё и единственным человеком, который знает, что вышло вчера, что вернулось нынче и чего вовсе не было. Не тебя станет ждать дело, не Думу и не человека при печати. Писца. Ему и делать ничего не надо. Ему довольно быть занятым.

Микула поднял голову.

— Я не задерживал.

— Я не про тебя, — сказал Савва. — Тебя я давно знаю. Я про место. На твоё место после тебя сядет другой, и он будет не ты.

— А на твоём месте сидит кто? — спросил Микула.

Савва повернулся к нему.

— Я стою, где государь велит стоять.

— Ты знаешь, где лежит.

— Знаю.

— А я знаю, что вышло.

— Знаешь.

— И покуда это врозь, ни ты, ни я в одиночку ничего не сделаем. А коли старое размещение и новая выдача сойдутся в одних руках, тогда книга ни к чему.

— Ты хочешь сам ходить по сундукам?

— Нет. Я хочу, чтобы ты перестал подавать мне нужную связку прежде, чем я успею назвать дело.

— Я тебе шаги берегу.

— Вот об этом ты и говоришь. Об удобстве.

Савва помолчал.

— Твоя правда. Впредь сначала назовёшь.

— Потом ты покажешь, где лежит, — продолжил Микула. — А брать в одиночку не станешь ни ты, ни я.

— Кто же возьмёт?

— Не знаю. Знаю только, что не один из нас.

Савва посмотрел на Максима.

— Значит, будет третий человек, государь. И ещё одна дверь.

— Может быть, — сказал Максим.

— И дело станет ждать его.

— Станет, — сказал Микула. — Зато я не останусь один перед всяким пропавшим листом.

— А третий привыкнет стоять рядом с тобой. Ты скажешь: внесено. Он кивнёт, не заглянув.

— Тогда пусть Адашев скажет, можно ли взять человека из уже заведённого порядка и не сделать его новым хозяином.

Максим не ответил сразу. Возражение не отменяло книгу. Оно показывало следующую руку.

— Позови Адашева, — сказал он Микуле.

Микула послал за ним.

— Ты против книги? — спросил Максим.

— Нет, государь.

— Тогда чего добиваешься?

— Чтобы после не сказали: Савва молчал, потому что хотел остаться единственным нужным человеком.

— А ты хочешь им остаться?

— Хочу остаться на службе, — сказал Савва. — Нужным или нет — это уже ты решишь.

— Удобный ответ.

— Удобство не всегда ложь.

Адашев вошёл и прикрыл за собой дверь.

— Звали?

— Звали. Микула будет вести короткую книгу выдачи по четырём опасным делам. Савва говорит: книга отдаст писцу власть задержать любое из них. Микула отвечает: знание старого места и новой выдачи надо держать врозь, но не знает, кому видеть саму запись. Возьми человека из пяти звеньев, не добавляя шестого. Твоё слово.

Адашев взял чистую полосу у Микулы.

— Новый человек не нужен, — сказал он. — Свидетель уже есть в пяти звеньях. Тот самый, без которого список не выходит.

— Он услышал государево слово, — сказал Савва. — К книге какое ему дело?

— Такое, что он видит выдачу. Микула пишет строку здесь. Свидетель при нём на другом обрезке ставит нынешнее число, называет дело и носителя. Свою отметку отдаёт мне. Книга остаётся в Казне, отметка с ней не лежит.

— Сам пишет? — спросил Микула.

— Коли умеет. Коли не умеет — называет другому писцу при себе и слышит, что внесено. Имя свидетеля остаётся в отметке.

— А в следующий раз?

— В следующий раз другой свидетель из тех, кого уже называли для нового распоряжения.

— Не новое звено? — спросил Максим.

— Нет. Старое звено оставляет свой след, а не только кивает у стола.

— Медленнее пойдём, — сказал Микула.

— Пойдёте, — ответил Адашев. — Зато ты не один.

— И ты станешь держать все отметки, — сказал Савва.

— Стану.

— Тогда дело будет ждать тебя.

— Нет. Отметка уходит ко мне после выдачи. Без неё список уже прошёл. Если отметка не придёт, при сверке возникнет пустое место.

— Когда сверять?

— Не по дню и не по колоколу, — сказал Адашев. — Как соберётся несколько выдач, складываем книгу с отдельными отметками. Не сходится — спрашиваем, пока люди помнят.

Савва наклонил голову.

— Так меньше охоты соединить оба следа в одном месте.

— Для того их и разносим, — сказал Максим.

Адашев вернул полосу Микуле.

Микула провёл ногтем по полосе.

— В книге — короткое имя дела, носитель, возврат. В отдельной отметке — то же имя дела, носитель, имя свидетеля.

— Да, — сказал Адашев.

— И эта отметка не у меня.

— Не у тебя.

— А старое размещение не у меня и не в книге.

— Не у тебя.

Микула повернулся к Савве.

— Ты знаешь, где лежит. Я знаю, что вышло. Свидетель видел саму выдачу. Адашев держит его отдельный след. Теперь скажи, кто один может остановить всякое дело.

— Государь, — ответил Савва.

Максим усмехнулся без радости.

— Этого из порядка не вынешь.

— Не вынешь, — согласился Адашев. — Но у тебя хотя бы не будет готовой лжи, будто всё сделала одна рука.

— Начинаем так, — сказал Максим. — Микула пишет книгу. При каждой выдаче стоит уже названный свидетель и оставляет отдельную отметку. Отметки идут к Адашеву. Савва сохраняет старое размещение, но не выдаёт опасный список в одиночку.

— Как повелишь, — сказал Савва.

— Нет. Скажи, где ещё дыра.

Савва оглядел полосу в руке Адашева, связку на сундуке и закрытый список Фомы.

— В том, что все трое могут написать правду о том, чего не было.

— Все трое?

— Микула напишет выдачу. Свидетель — что видел её. А человек у ворот скажет, что носитель прошёл. И всё это может сойтись, а нужный список лежать в другом рукаве.

— Значит, книга бесполезна? — спросил Микула.

— Нет. Значит, она не судья. Она только место, откуда начинают спрашивать.

Максим посмотрел на Адашева.

— За Висковатым пошли. Пусть скажет, где бумаге предел.

* * *

Висковатый пришёл после полудня со свёрнутым столбцом под мышкой. Положил его на сундук, развязал тесьму и развернул ровно настолько, чтобы были видны несколько последовательных записей.

— Государь, мне сказали, ты книгу заводишь.

— Завожу.

— Заводи. Только не верь ей.

— Савва уже сказал то же.

— Савва сказал про людей. Я скажу про бумагу.

— Говори.

Висковатый положил ладонь на столбец.

— Книга удобнее для короткой записи. Столбец удобнее для другого дела. И тот и другой держат только то, что в них внесли.

— Столбец нельзя переменить?

— Можно потерять весь столбец. Можно написать новый. Можно ошибиться в первом и честно перенести ошибку во второй. Я тебе не столбец хвалю. Я тебе говорю, чего бумага не может.

— Чего?

— Сказать, как было.

— Для чего же ты ведёшь свои книги?

— Чтобы знать, что кто-то однажды написал. Это не одно и то же.

— Коли писец написал правду?

— Тогда бумага повторит правду.

— А коли ложь?

— Повторит ложь теми же ровными буквами.

— Значит, ей нельзя верить вовсе.

— Одной — нельзя. Складывая: Микула написал одно, свидетель отдельно назвал то же, исполнитель видел носителя, у меня отозвалось дело, если шло через Посольское. Коли сходится — знаешь, где спрашивать дальше. Коли не сходится — тем более знаешь, где спрашивать.

— Но истины всё равно не знаешь.

— Государь, истину в людских делах редко приносят готовой. Чаше сперва находят несходство.

— Тогда книга нужна.

— Нужна.

— И столбец нужен.

— Моему делу — нужен.

— А без людей?

— Без людей они оба молчат.

Максим указал на чистую книгу, которую Микула принёс из казённых запасов и положил рядом с отдельными полосами Адашева.

— Начинай.

— С чего? — спросил Микула.

— С дела, путь которого уже закрыт и виден целиком. С отпуска Фомы. Не выдавай запись за сделанную тогда: поставь нынешнее число и напиши, что переносишь закрытый след при всех нас.

— Дело, носитель, возврат?

— Да.

— Свидетель? — спросил Адашев.

— Ты нынче первый. Видел лист, видел обратную весть, видишь перенос.

Адашев на отдельной полосе назвал то же дело и носителя, добавил своё имя и положил отметку не к книге, а в свою связку.

Микула прочёл первую строку вслух.

— Так? — спросил он.

— Так, — сказал Адашев.

— Так, — подтвердил Висковатый. — Две бумаги пока говорят одно. Больше они ничего не доказали.

Закрытый список Фомы Микула вернул на прежнее место.

— Теперь складываем прежние следы? — спросил Максим.

— Только не приписывай их по памяти, — предупредил Висковатый.

— Не будем. Разложим то, что есть.

Микула прежде всего отнёс в сторону отдельную связку росписей с разными словами о воротах, перехваченный список и запись их выдачи.

— Это прежний разбор, — сказал он. — В нынешний счёт не пойдёт.

— И служебные росписи сюда не относятся, — сказал Адашев. — Они не из четырёх дел.

— Не относятся.

До вечерней службы по новому порядку успели пройти и закрыться ещё несколько опасных списков. При каждой выдаче названный свидетель оставил Адашеву отдельную отметку, а Микула внёс возврат в книгу. Перед тем как расходиться, решили впервые сложить оба следа. Висковатый останавливал всякий раз, когда кто-нибудь пытался сказать больше, чем видел. Савва стоял у стены; старое размещение называл лишь после вопроса.

— Вот короткое имя дела о смене караула, — сказал Микула.

— В книге один список и возврат, — ответил Адашев. — У меня одна отметка свидетеля с тем же именем дела и одним носителем.

Микула развязал связку и замер.

— Здесь два.

— Два дела? — спросил Максим.

— Одно дело. Два листа.

Адашев положил отметку свидетеля рядом, не касаясь листов.

— У меня один носитель.

— Прочти оба, — сказал Висковатый.

Микула прочёл первый список, потом второй. Слова совпадали. Оба листа лежали в одной новой связке, но книга и отдельная отметка вместе знали лишь об одной выдаче и одном возвращении.

— Который был выдан? — спросил Максим.

Микула посмотрел на листы.

— Не знаю.

— Который появился вторым?

— Не знаю.

— Кто писал?

— По этим словам не скажу.

— Висковатый?

Думный дьяк наклонился над листами, прочёл начало одного и другого и выпрямился.

— Слова одинаковые. Перед нами два листа там, где отдельные следы знают об одном.

Больше я не скажу.

— Один списан с другого?

— Может быть.

— Одной рукой?

— Не стану угадывать.

— Оба выходили из Казны?

— Не могу сказать.

— Один оставался здесь?

— Не могу сказать и этого.

Максим повернулся к Савве.

— Ты знаешь, откуда второй?

Савва подошёл ближе, но листов не коснулся.

— Не знаю, государь.

— Ты прежде видел эту связку?

— Видел место, где она лежала. Внутрь не заглядывал при тебе.

— А без меня?

— Такого не упомяну.

— Не помнишь или не было?

— Не помню, — повторил Савва.

Микула резко поднял голову.

— Удобно.

— Удобно, — согласился Савва. — И всё же другого ответа у меня нет.

— Никого не брать, — сказал Максим.

Адашев посмотрел на него.

— Даже не спрашивать?

— Нынче мы уже спросили тех, кто в комнате. Других имён у нас нет. Не станем добывать имя из пустой строки.

— А листы?

— Положить вместе и не разлучать. Отдельно от прежней связки. Тот, кто коснётся после нынешнего разбора, будет назван при следующей отметке.

— В книгу что пойдёт? — спросил Микула.

— Нынешнее число как день находки. Короткое имя дела — то же, что на обоих листах.

Носитель — неведомо. Возврат — неведомо.

— Но один носитель был, — сказал Адашев.

— Для одного листа. Для второго мы не знаем ни носителя, ни выхода, ни возврата.

— И который из них второй, тоже не знаем, — сказал Висковатый.

— Так и не называем.

Микула открыл книгу на следующей строке.

Микула повторил короткое имя дела из обоих листов.

— Носитель: неведомо. Возврат: неведомо.

Перо осталось над бумагой.

— Государь, это первая незакрытая строка.

— Пиши.

— Она останется.

— Пока не узнаем — останется.

Микула написал.

— Отдельная отметка? — спросил Адашев.

Висковатый взял чистую полосу.

— Нынешнюю находку видел я. Напишу только это: при сверке лежали два листа одного названного дела, книга и отдельная отметка знали об одном. Происхождение лишнего листа неведомо.

— Цель тоже, — сказал Максим.

— Цель по бумаге не видна, — ответил Висковатый. — В отметку догадку не внесу.

Он записал своё имя, отдал полосу Адашеву, затем свернул свой столбец и перевязал тесьмой.

Два листа легли рядом в отдельную связку. Книга осталась перед Микулой. Свидетельская отметка ушла в руки Адашева. Савва стоял у стены и молчал.

В книге против носителя и возврата дважды стояло одно слово: «неведомо».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.